

ЖИВЫЕ ПЕРЕХОДЫ

РЕННЕЛЬСКОЕ УРОЧИЩЕ · КНИГА ТРЕТЬЯ



ТАЙНИКОВСКИЙ

Тайниковский Тайниковский

Живые переходы

Серия «Реннельское урочище», книга 3

<https://litres.ru/74450587>

SelfPub; 2026

Аннотация

Зоолог Артём Волошин умер, думая о накладной на кормовые смеси, и очнулся в теле молодого барона.

Наследство: заповедник магических зверей, четыреста тридцать два золотых долга и двести восемьдесят шесть медяков в кармане. Плюс дракон, который размеры которого зависят от золота.

Немного не свойственный для меня жанр, но как начал писать - не смог остановиться) Надеюсь вам понравиться!

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	25
Глава 3	46
Глава 4	67
Глава 5	92
Глава 6	115
Глава 7	138
Глава 8	160
Глава 9	181
Конец ознакомительного фрагмента.	182

Тайниковский

Живые переходы

Глава 1

Предписание привёз Марек Хольт девятого мая, и привёз он его лично, хотя мог послать с нарочным.

Я это отметил сразу.

За четыре года он приезжал ко мне одиннадцать раз, и десять из них — по квартальной проверке реестра. Одиннадцатый был в январе, к отцу.

Сейчас был двенадцатый, и в руках у него была не сумка с реестрами, а один сложенный лист.

— Барон, я вам сперва скажу словами, а потом дам бумагу.

— Настолько плохо?

— Не плохо, — не принял он. — Непривычно.

Мы сели в кабинете, и он изложил все что хотел за четверть часа.

Первое. В Королевстве шесть действующих переходов.

Это я знал от Веккеля.

Второе. При пяти из шести не ведётся никакого учёта живого.

Это я тоже подозревал.

Третье. За последние два года служба и палата изъяли у частных лиц двести с чем-то животных неместного происхождения.

Вот это было новостью.

— Магистр Хольт, откуда изъяли?

— Отовсюду, — доложил он. — У торговцев, у частных собраний, у балаганов. Барон, у нас в королевстве шесть живых переходов, и через все шесть что-нибудь да проносят.

— И где эти животные сейчас?

Марек помолчал.

— Вот об этом и предписание, — отозвался он.

* * *

Изъятые, как выяснилось, содержались в четырёх местах.

Первое — казённая псарня в столице, куда свозили всё, что похоже на собаку.

Второе — королевский зверинец, куда брали то, что красиво.

Третье — двор при таможенной части в Кальтене.

Четвёртое — «по усмотрению изымающего», и это означало, что животное оставляли у того, кто его отобрал.

— Магистр Хольт, а сколько из двухсот дожило?

Он открыл свою книжечку.

— По отчётам за два года — сорок одно.

Я сидел и считал.

Сто шестьдесят с чем-то из двухсот....

* * *

Предписание было на трёх листах, и суть в нём была на четырёх строках.

Реннельское Урочище с первого июня учреждается приёмным двором для животных неместного происхождения, изъятых на территории королевства.

Держателю вменяется: приём, выдержка по уставу, содержание, ведение записей.

Держателю выделяется: сорок золотых единовременно и по двенадцать в квартал на корма.

Держателю не выделяется ничего иного.

— Магистр Хольт, а сколько их будет?

— По прошлым двум годам — около сотни в год.

— То есть сто животных в год.

— Сто животных в год, — подтвердил он.

* * *

Я встал и подошёл к окну.

Двенадцать золотых в квартал на корма — это, по моим ценам, полтора десятка голов среднего размера. Не сотня.

Мест у меня было шесть дворов, из которых свободен один, и карантинный двор на четыре клетки.

Работников — восемь и кухарка.

— Магистр Хольт, я не смогу.

— Я это знаю, — отозвался он.

— Тогда зачем везёте предписание?

Марек Хольт закрыл книжечку.

— Барон, я его не вёз, — уточнил он. — Я его написал.

* * *

Он объяснял двадцать минут, и объяснение было честное и неприятное.

Первое. Он с марта в отделе действующих переходов, как и хотел, и ведёт три из шести.

Второе. В феврале он посетил казённую псарню.

Он не стал описывать, что там увидел, и я его не просил.

Он сказал одно: «Барон, там держат в собачьих клетках то, что не собаки, и кормят собачьим кормом».

Третье. Он подал докладную и получил ответ, что для устройства приёмного двора нужно место, устав, люди и записи, и что ничего этого у службы нет.

Четвёртое.

— И тогда я написал, что всё это есть у вас, — доложил Марек. — Барон, я вас не спросил. Я знаю.

* * *

Я сидел напротив и не знал, что чувствую.

— Магистр Хольт, вы понимаете, что вы со мной сделали?

— Понимаю, — подтвердил он. — Барон, я на вас взвалил сто зверей в год за двенадцать золотых в квартал. Это неподъёмно.

— И всё-таки написали.

— И всё же написал, — согласился он. — Потому что альтернатива — казённая псарня, и я её видел, а вы нет.

Он поднялся.

— И вот что, барон. Я не прошу вас соглашаться. Предпи-

сание можно оспорить в течение месяца, и я вам скажу как: сослаться на отсутствие помещений и потребовать освидетельствования. Освидетельствование покажет, что вы правы, и с вас снимут.

— И куда их тогда денут?

— На псарню, — отозвался Марек Хольт.

* * *

Вечером я собрал всех.

Читал предписание вслух, как читал всё за последние два года, и на четвёртой строке Мавра меня остановила.

— Мальчик мой, повтори про деньги.

— Двенадцать золотых в квартал.

— А на сколько голов?

— На сотню в год.

Она посчитала — она к тому времени считала не хуже меня, потому что я третий год читал ей расчёты.

— Мальчик мой, это по золотому на восемь голов, — определила Мавра. — У нас одна коза столько съедает.

— Я это посчитал.

— Так ты им и скажи.

— Мавра, я им уже сказал. Магистр Хольт со мной согласен.

Она посмотрела на меня.

— Так а чего ты нас собрал? - спросила домоуправительница и я начал объяснять.

Что могу отказаться и это законно. Что тогда зверей пове-

зут на казённую псарню. Что на псарне за два года из двухсот дожило сорок одно.

И что решать не мне одному, потому что работать будут они.

Первым высказался Гуш.

— Сколько дворов вам надо?

— Не знаю, — признал я. — Гуш, я не знаю, кого привезут. Могут привезти пятерых с ладонь, а могут одного с телегу.

— Тогда надо разные дворы, — определил он.

— Гуш, ты понимаешь, что это не двор, а десять?

— Понимаю, — не принял он. — Я и говорю: разные.

* * *

Бернат высказался вторым и высказался про деньги.

— Барон, я вам скажу как строитель. Двор на десять клеток разного размера, с крышей и с водой, — это восемьдесят золотых и три месяца.

— У меня сорок золотых единовременно.

— У вас сорок от службы, — уточнил он. — А у вас ещё пошлина, посетители, поставка и жалованье держателя. Барон, вы сколько за прошлый год чистыми взяли?

Я посмотрел в книгу.

— Двести девяносто один.

— Ну вот, — отозвался Бернат. — Значит, можете.

— Бернат, эти двести девяносто один у меня расписаны.

— На что расписаны?

— На ограду, на четвёртый двор, на крышу дома, на жалование с прибавкой, — перечислил я.

— Значит, не всё сразу, — не принял он. — Барон, я вам построю за год, а не за три месяца. Зато сам, без наёмных, и обойдётся в сорок.

* * *

Пим и Илмет высказались вместе и высказались так, что стало ясно: они это обсуждали до собрания.

— Господин Тобиас, у нас есть предложение.

— Излагайте ваше предложение.

— Мы не сможем принять сто в год, — начал Пим. — Мы это посчитали. Даже если Бернат построит двор, у нас не хватит рук.

— Хорошо, дальше.

— А если принимать не всех? — договорил Илмет.

Я отложил перо.

— Поясни свою мысль.

— Господин, в предписании написано «приём», — уточнил он. — А не написано, сколько.

* * *

Мы просидели над этим полночи и вышли на то, что потом стало нашим главным правилом.

Урочище принимает не всех.

Урочище принимает по своей описи возможностей, которую само же составляет и обновляет ежеквартально, и служба эту опись получает.

Проще говоря: я пишу, что могу взять шесть голов до пуда и две до десяти пудов, и всё, что сверх, — не мой отказ, а моя вместимость.

— Илария, а это пройдёт?

Она приехала к ночи, специально, потому что Пим за ней послал.

— Пройдёт, — подтвердила она. — Тобиас, это то же самое, что я делаю в лечебнице третий год. Я не отказываю. Я говорю: сегодня приму шестерых, седьмой — завтра.

— И что, не обижаются?

— Обижаются, — не приняла она. — И приходят завтра.

* * *

Ответ службе я писал четыре дня.

Он вышел на шести листах, и первый лист был единственным, который читали.

Держатель принимает предписание.

Держатель уведомляет о вместимости, каковая на сегодня составляет: шесть голов весом до пуда, две — до десяти пудов, ноль — свыше.

Держатель уведомляет о сроках расширения: к весне следующего года — до двадцати голов до пуда и шести до десяти пудов, при условии, что выделенные средства расходуются на корма, а строительство ведётся за счёт держателя.

Держатель просит уведомлять о каждой партии за четырнадцать дней до отправки, с указанием числа, веса и, по возможности, вида.

Вот на последнем пункте Марек, приехавший через две недели, задержался дольше всего.

— Барон, «по возможности вида» — это как?

— Магистр Хольт, я понимаю, что вида они не знают.

— Разумеется, не знают, — подтвердил он. — Барон, в описях изъятого пишут «зверь неизвестный, бурый, размером с барана».

— Вот пусть так и пишут, — отозвался я. — «Бурый, с барана» — это уже сведения. Я по этому хотя бы клетку подберу.

* * *

Двор Бернат начал в конце мая и начал с того, что три дня ничего не строил.

Он ходил по Урочищу и мерил.

— Барон, я вам сперва скажу, чего у вас нет.

— Говорите, чего у меня нет.

— У вас нет воды в четвёртом дворе, — доложил он. — И в пятом нет. Вы туда носите вёдрами, потому что зверья там мало.

— Бернат, у меня акведук.

— У вас акведук до третьего двора, — не принял он. — Дальше он развалился при вашем деде, и вы за четыре года до него не дошли.

Я это знал и четыре года откладывал.

— И что вы предлагаете?

— Чинить акведук, — отозвался Бернат. — Барон, вы мне

велите строить приёмный двор. А я вам говорю: приёмный двор без воды — это яма, куда мы будем таскать вёдра. Я его построю, а через год вы меня спросите, почему у вас двое работников только и делают, что носят.

* * *

Акведук чинили всё лето.

Восемьсот шагов деревянного лотка на подпорках, из которых уцелело триста, и водозабор у ручья, который надо было переделывать целиком, потому что ручей за сорок лет ушёл в сторону на пятнадцать шагов.

Работали вчетвером: Бернат, Гуш, двое подённых.

Пим и Илмет ходили считать уклон, и это оказалось делом, которого никто из нас не умел.

Уклон нужен был ровный: три пальца на сто шагов. Больше — вода пойдёт бурно и выбьет лоток. Меньше — встанет и зацветёт.

— Господин Тобиас, а как мы его вымерим на восемьсот шагов?

Я думал два дня и придумал то, что в моём прежнем мире знает любой строитель, а тут, как выяснилось, не знал никто.

Водяной уровень.

Две стеклянные трубки, соединённые кожаным шлангом, вода внутри. Где вода в одной трубке — там же она и в другой, как бы ни шёл рельеф.

Трубки выдул нам стекольщик в Вельне за два золотых и, выдувая, три раза спросил, зачем.

Я объяснил.

Он послушал, подумал и сделал четыре штуки вместо двух, и с двух денег не взял.

— Барон, я себе оставляю.

— Мастер, вам-то зачем?

— А я печи ставлю, — отозвался он. — Мне под печь ровно надо, и я его тридцать лет на глаз бью.

* * *

К августу вода дошла до пятого двора.

Первый раз за сорок один год, и по этому поводу Мавра сделала то, чего не делала никогда: пришла смотреть.

Постояла у желоба, посмотрела, как течёт, и высказалась.

— Ну надо же, потекла.

— Мавра, ты сорок восемь лет тут живёшь.

— Сорок девять, — поправила она. — И сорок один год тут воды не было. Мальчик мой, я в молодости отсюда ведрами носила.

Она потрогала струю.

— Холодная, — определила Мавра. — Хорошая вода.

И ушла.

А вечером я обнаружил, что она перенесла к пятому двору корыто для стирки, которое сорок лет стояло у колодца.

* * *

Опись возможностей я составлял вместе с Гушем, и это заняло шесть вечеров.

Идея была моя, а работа — его, потому что вместимость

двора считается не в головах, а в том, сколько зверь занимает, сколько ест и сколько после него убирать.

— Гуш это знал руками.

Первое, что он сделал, — забраковал мой способ.

Я считал по весу: до пуда, до десяти пудов.

— Господин, вес неверно.

— Гуш, а как верно?

— По шагам, — доложил он. — Зверь ходит или не ходит.

Который не ходит — тому клетка. Который ходит — тому двор.

— И как это считать?

— Сколько шагов он делает, пока не повернёт, — уточнил

Гуш. — Хорёк три. Лиса восемь. Пеплогрив четыре, но он большой.

Второе. Он разделил всё на четыре разряда, и разряды эти мы потом два года не меняли.

Разряд первый. Не ходит, сидит или лежит. Клетка в два шага. Убирать раз в сутки.

Разряд второй. Ходит до пяти шагов. Загон в десять. Убирать дважды.

Разряд третий. Ходит больше пяти. Двор от тридцати шагов.

Разряд четвёртый. Роем, лазает или летает.

Вот четвёртый он записал отдельно и сказал про него одно.

— Господин, этих мы не возьмём.

— А почему не возьмём?

— Потому что для них надо не двор, — отозвался Гуш. — Для них надо весь двор сверху и снизу. Мы такого не строили.

Я записал в опись возможностей: «Разряд четвёртый — не принимаем до особого уведомления».

И через полтора года пожалел.

* * *

Первую партию привезли двадцать первого июня.

Уведомили, как я и просил, за четырнадцать дней, и в уведомлении стояло: «четыре головы, вес общий около двух пудов, вид не установлен, изъяты у балаганщика в Кальтене».

Приехали на одной телеге, вчетвером, и старшим был человек из таможенной части, который всю дорогу, как выяснилось, вёз их и всю дорогу не знал, чем кормить.

Клетки были деревянные, ящичные, без поилок.

Я открыл первую и минуты две не мог понять, на что смотрю.

* * *

Их было четверо, и они были живые.

Размером с крупную кошку каждый. Тело вытянутое, как у хорька, но лап шесть — три пары, и задняя пара короче и явно нерабочая.

Шерсть короткая, серо-голубая, с металлическим отливом.

Морда тупая, глаза маленькие, а над глазами — две склад-

ки кожи, которые открывались и закрывались отдельно от век.

И они были в очень плохом состоянии.

— Илария, посмотрите на них.

— Вижу, — отозвалась она, уже открывая сундук. — Тобиас, обезвоживание. Тяжёлое. Сколько их везли?

— Девять дней в дороге.

— Их в дороге поили?

Я обернулся к таможенному.

Он смотрел в землю.

* * *

Первые сутки мы не спали.

Отпаивали через рожок — тем самым способом, которому Илария научила двух женщин в кочевье три года назад и который с тех пор знали у нас все.

Поили каждый час.

К утру двое пили сами.

Третий умер около четырёх, и умер он на руках у Илмента, который его держал, и он не сказал ни слова, а через час пришёл ко мне и спросил, как записать.

— Илмет, запиши как есть.

— Господин, я не знаю, от чего он умер.

— Тогда так и запиши, — отозвался я. — «Умер около четырёх утра. Причина не установлена. Состояние при поступлении — тяжёлое обезвоживание, девять суток без воды».

Он записал.

И приписал ниже, своей рукой, то, чего я ему не говорил:
«Держал Илмет».

* * *

Четвёртый выжил.

К третьему дню все трое пили сами, к пятому начали есть, и вот тут началось то, ради чего, как я теперь понимаю, всё и затевалось.

Мы не знали, чем их кормить.

Балаганщик, у которого их изъяли, кормил хлебом в молоке — это было записано в описи, и это, судя по состоянию зубов, длилось не первый месяц.

Зубы были не для хлеба.

Я осмотрел пасть у самого спокойного и записал: резцы отсутствуют, клыки развиты, коренные бугорчатые, с острыми гранями.

— Илария, что скажете?

— Скажу, что он всеядный с уклоном, — отозвалась она.

— Тобиас, такие зубы у барсука. И у кабана. И у медведя.

— То есть он ест всё подряд.

— То есть ест всё, но что-то предпочитает, — уточнила она. — И вот это нам придётся выяснять самим.

* * *

Выясняли восемь дней, и способ придумал Пим.

Он предложил не гадать, а спросить у них.

— Господин Тобиас, давайте им положим всего понемногу и посмотрим, что возьмут первым.

— Пим, это называется кафетерийный опыт.

— Как-как называется?

— Неважно, — свернул я. — Правильно предлагаешь.

Только тут есть подвох.

— А в чём подвох?

— Голодный зверь ест первое, что видит, — уточнил я. —

Надо сперва накормить досыта, а потом выкладывать.

Мы делали это восемь дней, дважды в сутки, по девять видов корма за раз, и Пим вёл таблицу.

Результат вышел неожиданный.

Мясо брали, но не первым.

Рыбу не брали вовсе.

Зерно и хлеб не брали, что было не удивительно.

Корнеплоды брали охотно.

А первым и всегда — то, чего я не ожидал.

Насекомых.

* * *

Личинок им принёс Гуш, из навозного бурта, горсть на пробу, и они съели горсть за минуту и потом три часа искали в кормушке ещё.

Мы пересчитали рацион и вышли на такое.

Личинки и черви — основа, по трети фунта на голову в сутки.

Корнеплоды — вторым.

Мясо — раз в три дня, немного.

Насекомых у нас было ровно столько, сколько давал на-

возный бурт, и это оказалось меньше, чем нужно троим.

— Барон, а если бурт удвоить?

— Бернат, у нас навоза не хватит.

— Так у нас теперь два выючных зверя, — не принял он.

— Барон, они за неделю дают столько, что я не знаю, куда девать.

Второй бурт он заложил в июле, и к августу он давал вдвое больше червей и личинок, чем требовалось.

* * *

Кто это такие, мы так и не выяснили за лето.

Ни один из справочников Дербена, ни один из моих собственных, ни расспросы Кеши — ничего.

Дракон, посмотрев на них, сказал только одно.

Реннел, они не с той стороны.

— В каком смысле не с той?

Не из Восьмого предела, — уточнил Ксаверий Аргентум Третий. — Реннел, я там был дважды и того, что там водится, представляю. Этих там нет.

— Значит, с другого перехода.

Значит, с одного из пяти остальных, — согласился он. — И, Реннел, вот тут я хочу, чтобы ты подумал о том, что через два года у тебя тут будет зверьё из шести разных миров.

— Я об этом думаю с июня.

Думай усерднее, — распорядился дракон. — Потому что если ты чему и научился в позапрошлом году в степи, так

это тому, что бывает, когда сводят вместе то, что не сводилось.

* * *

Про содержание надо сказать отдельно, потому что тут мы за лето сделали четыре ошибки, и все четыре я записал.

Первая. Поставили их втроём в одну клетку.

Продержались они так девять дней, а на десятый самый крупный загнал двух других в угол и не выпускал.

Рассадили в тот же час.

Записал: «Вид, вероятно, одиночный либо парный. Втроём не держать».

Вторая. Настелили соломы.

Они её съели.

Не всю — но три дня подряд грызли, и на четвёртый у двоих пошёл понос, и Илария двое суток их выхаживала.

Заменили песком и корой.

Третья. Поставили поилку на пол.

Они в неё лезли, мочились и переворачивали.

Подвесили на высоте груди — и всё прекратилось, и вот это, как выяснилось, было для них естественно: в природе они, судя по всему, пьют не с земли.

Четвёртая была моя личная и худшая.

Я их "прощупал".

* * *

Сделал я это на одиннадцатый день, когда самый мелкий перестал есть, и сделал это неподумав.

За четыре года я "открывался" к десяткам зверей и привык, что чувствую жар, боль, голод, страх — то, что понятно.

Тут было другое.

Я услышал ровное, спокойное и очень странное. Будто бы это было не одно существо, а сразу несколько.

Три, если быть точным, и я слышал всех троих сразу.

Не по отдельности — вместе, как слышишь хор, а не голоса по отдельности.

Я убрал руки через минуту и сел на пол, и кровь пошла так, как не шла с первого года.

* * *

Илария нашла меня там же через четверть часа.

— Тобиас, сколько вы держали?

— Минуту, может, чуть больше.

— И что вы слышали?

Я рассказал.

Она слушала, не перебивая, потом села рядом на пол, прямо в песок.

— Тобиас, у меня к вам просьба, и вы её не выполните.

— Говорите вашу просьбу.

— Больше к ним не открывайтесь, — распорядилась Илария.

— Илария, это моя работа.

— Это ваш дар, а не работа, — не приняла она. — Тобиас, вы четыре года открываетесь к одному зверю за раз. А тут вы слышали троих сразу и вас положило на пол.

Она посмотрела на меня.

— А если их будет двадцать?

* * *

Я не ответил ей тогда и не ответил до сих пор.

Но записал в свод отдельным пунктом, потому что понял, что это надо записать раньше, чем я это забуду или объясню себе иначе.

«Открытие к шестилапам: слышится не одно живое, а три одновременно, слитно.

Предположение: вид держит связь между особями, и дар слышит эту связь, а не отдельное животное.

Проверять на четверых и более не буду.

Причина: не знаю, чем это кончится, и не хочу выяснять на себе при восьми людях, которые от меня зависят».

Кеша, прочитав, впервые за четыре года ничего не связывил.

Правильно записал,— отозвался он. —Реннел, я сто десять лет смотрел, как Реннелы выясняют на себе. Ты первый, кто написал «не буду».

* * *

Название им дал Пим, и дал он его случайно.

Он их с первого дня звал шестилапами, потому что как-то же надо было звать, и к августу так их звали все, включая приехавшего с проверкой Марека.

В заявлении, которое я подал в палату в сентябре, я написал это слово.

Оно и осталось.

Шестилап балаганный — потому что происхождение неизвестно, а известно только то, что их держали в балагане.

Крич, читая заявление, на этом названии остановился.

— Барон, «балаганный» — это ведь не про зверя.

— Совершенно не про зверя, — согласился я.

— А про кого же тогда?

— Про нас, — отозвался я. — Магистр Крич, через сто лет кто-нибудь прочтёт это название и спросит, почему оно такое. И ему объяснят, что первых трёх нашли в ящике у балаганщика и что четвёртый умер по дороге.

Крич помолчал.

— Барон, вы понимаете, что делаете это нарочно?

— Прекрасно понимаю.

— Тогда пишите, — распорядился магистр Виллем Крич и поставил свою визу.

Глава 2

Вторая партия пришла в августе, и в уведомлении на этот раз было написано много.

«Восемь голов. Вес общий около одиннадцати пудов. Изъятые у частного собрания в Кальтене по делу о неуплате пошлины.

Виды по описи собрания: лунная выпь — две, серебряный барсук — одна, поющая ящерица — четыре, конь малый пустынный — одна.

Держателю сообщается, что названия даны прежним владельцем и службой не проверялись».

Последняя строка была приписана рукой Марека, и я по ней понял, что он эти названия читал и они ему не понравились тоже.

* * *

Приехали двадцать девятого, на двух телегах.

Клетки на этот раз были приличные — частное собрание, не балаган, — с поилками, с поддонами, и звери были в состоянии, которое Илария после осмотра назвала удовлетворительным.

Разбирали мы их четыре дня.

«Лунная выпь» оказалась не выпью.

Птица высотой мне по бедро, на длинных ногах, с прямым клювом и совершенно белым оперением, которое в темноте

отдавало зелены — не светилося, как у мунликов, а именно отдавало, слабо, если смотреть боковым зрением.

Илария первая заметила, откуда это.

— Тобиас, у неё перья не белые.

— А какие же они?

— Прозрачные, — уточнила она, разглядывая на просвет.
— Тобиас, они выглядят белыми, потому что все перья прозрачные и свет в них..., - Илария сделала небольшую паузу, обдумывая как правильно выразить свои мысли. - Путается, что ли... Не знаю как лучше сказать. Как снег - лучше я не объясню.

Я записал это и потом полгода проверял, и она оказалась права.

«Серебряный барсук» оказался обычным барсуком.

Настоящим, то есть местным, просто с прокрашенной шерстью.

Прокрашен он был чем-то на извести, шерсть от этого сбилась и лезла, и кожа под ней была в язвах.

Мы его отмывали шесть дней.

И делал это Гуш. Девятнадцать раз, потому что известь въелась в подшёрсток.

Мыли тёплой водой с золой, потом маслом, потом опять водой, и на шестой день Илария велела остановиться.

— Тобиас, мы ему кожу сдерём.

— Илария, у него шерсть колом.

— У него кожа в язвах, — не приняла она. — Тобиас, шерсть отрастёт. Кожа — нет.

Дальше его не мыли, а мазали, и он линял до весны, и весной вышел из линьки нормальным барсуком.

А Пим за эти полгода записал про него сорок одну страницу.

Не потому, что барсук интересный, — потому что барсук был единственным зверем в Урочище, про которого можно было проверить, правильно ли мы наблюдаем.

Про остальных мы не знали ничего.

Про барсука знали всё: где живёт, чем питается, когда спит, сколько весит по сезону — это есть в любом справочнике.

— Господин Тобиас, я его записывал два месяца и потом сверил с книгой.

— И что вышло при сверке?

— По весу ошибся на четверть, — доложил Пим. — По сну — на два часа. По еде — совсем не ошибся.

— Пим, ты понимаешь, что ты сейчас сделал?

— Проверил себя, — отозвался он.

Я записал это в свод отдельным пунктом.

«Держать при дворе одно местное животное, про которое всё известно, — не для содержания, а для сверки наблюдателя.

Наблюдатель, ошибающийся на барсуке, ошибётся и на неизвестном, только там мы этого не узнаем».

* * *

Про барсука я написал в палату отдельным заявлением, и заявление это было первым за четыре года, где я на кого-то жаловался.

Крич принял его без всякого удовольствия.

— Барон, вы понимаете, что это дело против человека, а не против бумаги?

— Прекрасно понимаю.

— И что оно ничем не кончится, тоже?

— Магистр Крич, а почему не кончится?

— Потому что владельца собрания уже оштрафовали за пошлину, — уточнил он. — А за крашеного барсука у нас нет статьи.

Я подумал.

— Магистр Крич, а можно я подам не жалобу?

— А что вместо жалобы?

— Уведомление, — отозвался я. — В палату, по зверю. «Держатель уведомляет, что в поступившей партии находилось местное животное, выдаваемое за неместное посредством окраски».

Крич посмотрел на меня.

— Барон, вы понимаете, что вы сейчас делаете?

— Понимаю, я создаю прецедент.

— Вы создаёте вопрос, — не принял он. — На который палате придётся отвечать, потому что уведомление она обязана рассмотреть.

Он взял перо.

— Пишите, — распорядился магистр Виллем Крич. — Мне это, признаться, любопытно.

* * *

«Поющая ящерица» пела.

Их было четыре, длиной в ладонь, тёмно-зелёные с жёлтым брюхом, и вечерами они издавали звук.

Не пение — тон. Ровный, довольно высокий, длящийся секунд по двадцать, и все четыре тянули его вразнобой.

Пим слушал их три вечера и на четвёртый пришёл ко мне с наблюдением.

— Господин Тобиас, они не вразнобой.

— Пим, я слышу четыре разных.

— Слышите четыре, а тянут они по очереди, — не принял он. — Господин Тобиас, я считал. Первая тянет, потом вторая, потом третья, потом четвёртая, потом опять первая. Просто они друг на друга находят.

Мы проверяли это неделю вдвоём, с песочными часами, и он оказался прав.

Круг занимал минуту с четвертью, и порядок не менялся ни разу за неделю.

— Илмет, запиши в графу: очередь строгая.

— Господин, а если одну убрать?

Я остановился.

— Илмет, ты предлагаешь мне опыт.

— Предлагаю опыт, — подтвердил он. — Господин, если

очередь строгая, то без второй третья должна тянуть сразу после первой. А если нет — они собьются.

Мы убрали вторую в соседнюю клетку на час.

Они сбились.

Все три молчали двадцать минут, потом начали заново и выстроили новую очередь: первая, третья, четвёртая.

А когда вторую вернули — перестроились обратно за четверть часа.

* * *

«Конь малый пустынный» оказался главной задачей той осени.

Он был размером с крупную собаку, на четырёх ногах, с копытами, с гривой — и на этом сходство с лошадью кончалось.

Шея короткая. Голова тупая, как у телёнка. Хвост голый и подвижный, которым он всё время что-то трогал.

И он не ел.

Четыре дня не ел вовсе, пил воду и стоял, и на пятый я понял, что мы его теряем.

* * *

Кафетерийный опыт не дал ничего.

Мы выложили ему девятнадцать видов корма за три дня — сено, зерно, овощи, ветки, кору, мох, мясо, рыбу, личинок.

Он не тронул ничего.

— Илария, что скажете?

— Скажу, что он не отказывается, — отозвалась она. — Тобиас, отказывающийся зверь отворачивается. А этот под-
ходит, нюхает и уходит.

— То есть он ничего не находит.

— То есть он ищет что-то, чего у нас нет, — уточнила она.

Мы бились над этим ещё два дня, и решил дело Кайрак.

* * *

Он пришёл с сентябрьской ходкой, и я, встретив его на прогалине, первым делом попросил посмотреть.

Он посмотрел.

Потом обошёл кругом, присел, посмотрел на копыта и что-то сказал.

Он говорит, это степной, — перевёл Кеша. Говорит не их, — продолжил дракон. — Он говорит: не наш и не ваш. Но степной. Он говорит, что у такого зверя копыто стёсано с одной стороны, а это бывает, когда ходят по твёрдому и солённому.

— Ксаверий, спроси, чем его кормить.

Кайрак ответил одним словом и показал рукой на землю.

Солью, — перевёл Кеша.

* * *

Соль ему дали в тот же час.

Не лизунец — рассыпную, ту самую кайракскую, серую, с горчинкой, которой у нас в кладовой лежало три пуда с прошлой поставки.

Он подошёл, обнюхал и стал есть.

Ел он её минут двадцать, потом отошёл и впервые за девять дней лёг.

А на другой день съел сено.

— Ксаверий, объясни мне, что произошло.

Понятия не имею, — отозвался Ксаверий Аргентум Третий. — Реннел, я перевёл слово. Объяснять — твоё дело.

Объяснение я нашёл через месяц и нашёл его в опыте.

Мы давали ему сено с солью и сено без соли, порознь, и он ел только с солью.

Потом давали солёную воду и пресную. Пил обе.

Потом давали соль отдельно от корма, с промежутком в час.

И вот тогда стало ясно: он ест не солёное. Он ест соль до еды.

Как мы пьём воду перед обедом, а не вместе с ним.

* * *

Я записал это в свод и записал развёрнуто, потому что понял, что это не про одного зверя.

«Конь малый: не ест, пока не получит соли. Соль до корма, не с кормом.

Вывод: зверь из мест, где соль лежит на поверхности и потребляется отдельно от пищи.

Общий вывод: при поступлении неизвестного вида проверять не только что он ест, но и в каком порядке.

Порядок может быть частью потребности».

Илария, прочитав, добавила своей рукой ниже, впервые

за четыре года дописав что-то в мой свод:

«Подтверждаю. И то же может касаться воды, света и времени суток. Проверять всё, что мы считаем безразличным».

* * *

Про прозрачноперых надо сказать отдельно, потому что они за осень трижды поставили нас в тупик и трижды же нас научили.

Первое. Они не ели при свете.

Мы это выяснили не сразу: корм клали утром, а к вечеру он был съеден, и всех это устраивало.

Заметил Илмет.

— Господин, они едят ночью.

— Илмет, они птицы. Птицы едят днём.

— Эти не едят, — не принял он. — Господин, я три ночи сидел. Они начинают, когда совсем темно.

Я проверил и убедился.

Мы перенесли кормление на вечер, и за месяц обе набрали вес.

Второе. Они боялись потолка.

Клетка у них была крытая, с дощатой крышей на высоте двух моих ростов, и первые недели они держались у стены и не выходили в середину.

Гуш, посмотрев, объяснил в двух словах.

— Им неба не видно.

— Гуш, поясни мне это.

— Птица с длинными ногами живёт на открытом, — уточ-

нил он. — Ей надо видеть верх. У неё враг сверху.

Мы сняли доски и натянули сетку.

Через два дня они вышли на середину.

Третье было самым неожиданным и обнаружилось в декабре.

Они начали белеть.

Точнее — переставать быть белыми: перья, прозрачные с лета, к декабрю стали мутнеть, и птица из белой сделалась серовато-дымчатой.

Илария осмотрела и не нашла болезни.

Я осмотрел и не нашёл тоже.

А потом Пим, ведущий по ним журнал, положил передо мной свою таблицу.

— Господин Тобиас, посмотрите на снег.

Я посмотрел.

Мутнеть они начали в тот же месяц, когда лёг снег.

— Пим, ты хочешь сказать, что это сезонное?

— Я хочу сказать, что летом они белые на снегу были бы видны, — уточнил он. — А зимой они серые. Значит, летом у них снега нет.

Он поднял голову.

— Господин Тобиас, у них там зима не белая.

* * *

Названия им дали в октябре, и на этот раз я делал это по правилу, которое сам же и завёл после шестилапов.

Правило было такое.

Название не по внешности, потому что внешность обманывает. Не по повадке, потому что повадку мы за три месяца не узнаем.

По тому, что установлено достоверно.

«Лунная выпь» стала прозрачноперой белой, потому что прозрачность перьев мы проверили на просвет тридцать раз, а на выпь она не похожа вовсе.

«Поющая ящерица» стала очередной певчей, и это название вызвало у Крича единственный за четыре года смех.

— Барон, «очередная» — это как «следующая»?

— Это как «поющая по очереди», — уточнил я.

— Барон, вас через сто лет неправильно поймут.

— Магистр Крич, меня и сейчас неправильно понимают, — не принял я. — Пишите.

«Конь малый пустынный» стал солеедом степным, и это единственное название, которым я до сих пор доволен.

Барсук остался барсуком и через полгода был выпущен в лес за прудом, отмытый, вылеченный и с отросшей шерстью.

Пим просил оставить.

Я не оставил и объяснил почему.

— Пим, он же местный.

— Господин Тобиас, он у нас полгода прожил.

— Полгода — это не жизнь, — не принял я. — Пим, у него тут ни родни, ни территории. Он барсук из-под Кальтена. Пусть идёт.

* * *

Солееда я держал отдельно от всех и держал по причине, которую понял только к зиме.

Он был единственным крупным.

Пять пудов при росте с крупную собаку — это, по разрядам Гуша, второй, почти третий, и в приёмном дворе он занимал места больше, чем шестилапы, певчие и прозрачноперые вместе.

И он был единственный.

— Илария, меня это беспокоит.

— Что именно вас беспокоит?

— То, что он один, — уточнил я. — Илария, у нас в собрании шестнадцать видов, и по семи из них у нас по одной особи.

— И что вы предлагаете?

— Пока ничего, — признал я. — Но я хочу, чтобы это было записано.

Записал я это отдельным разворотом и назвал его «Одиночки».

Семь строк.

Пеплогрив — один, слепой, четвёртая зима.

Гортензия — одна, размножается делением, но не размножалась за четыре года ни разу.

Солеед — один.

Прозрачноперые — две, пол не установлен.

Шестилапы — трое, пол не установлен.

Скользни — не считаны, потому что не даются.

Барсук — до весны.

И внизу приписал вопрос, на который у меня не было ответа:

«Что мы, собственно, делаем? Собираем зверей или собираем последних?»

* * *

Про очередных певчих мы к октябрю выяснили ещё одно, и выяснил это Илмет, продолжив свой же опыт.

Он спросил, что будет, если добавить пятую.

Пятой у нас не было, и он предложил вместо неё себя.

— Господин, я умею свистеть.

— Илмет, ты собираешься с ними петь?

— Я собираюсь встать в очередь, — уточнил он.

Он сидел у клетки шесть вечеров и на седьмой свистнул в свой промежуток — после четвёртой, перед первой.

Они сбились.

Замолчали на двадцать минут, потом начали заново, и в новой очереди было пять мест.

Пятое было его.

* * *

Он держал это место одиннадцать дней.

Приходил каждый вечер, садился и свистел, когда доходило до него, и они его ждали.

А на двенадцатый не пришёл — заболел, слёг с горлом на три дня.

Они ждали его два вечера.

Тянули четверо, оставляя промежуток, и промежуток этот был ровно той длины, что и его свист.

На третий вечер перестроились на четверых.

Илмет, узнав об этом, попросил меня записать всё в племенную книгу, и я записал, и это единственная запись в наших книгах, где наблюдатель является частью опыта.

«Илмет занял пятое место в очереди на одиннадцать дней и был принят. При его отсутствии вид держал его место двое суток, после чего перестроился.

Вывод: очередь у вида не врождённая, а устанавливаемая, и в неё может быть принят посторонний.

Записал: Илмет. Проверил: хозяин».

* * *

Кеша по этому поводу высказался вечером и высказался неожиданно серьёзно.

Реннел, ты понимаешь, что мальчик сделал?

— Он вошёл в стаю.

Он вошёл в стаю чужого вида и вышел из неё, и вид его два дня ждал, — уточнил Ксаверий Аргентум Третий. — Реннел, за сто восемьдесят семь лет я такого не слышал ни от кого.

— Ксаверий, это ящерицы в ладонь длиной.

Это ящерицы в ладонь длиной, которые держат очередь и умеют её менять, — не принял он. — Реннел, я тебе скажу неприятное. У драконов есть Сверка, и мы там тоже держим очередь. И у нас в ней чужого не берут.

* * *

К ноябрю в Урочище стало вот что.

Свои, четыре года: пеплогрив, кисейницы (четверо), мунлики (одиннадцать), копуны (девять), скользны, шмели, Гортензия.

Дикие на болоте: мунлики (восемь), тихокрылы (четверо, из них двое молодых), копачи (не меньше двух, не считаны).

Приведённые: два выючных зверя.

Приёмные, с июня: шестилапы (трое), прозрачноперые (две), очередные певчие (четыре), солеед (один), барсук (до весны).

Итого видов — шестнадцать, из которых пять получены за одно лето.

Я подвёл этот счёт в племенной книге двенадцатого ноября и сидел над ним, наверное, полчаса.

За четыре года до того в этой книге стояло пять.

* * *

Двенадцатого же вечером я сделал то, до чего дошёл только на пятом месяце работы приёмного двора.

Я сел писать наставление.

Не для себя — для того, кто будет принимать зверя, когда меня не будет дома, а это случалось всё чаще.

Вышло на двух страницах и восьми пунктах.

Первое. Не открывать клетку, пока не осмотришь снаружи. Зверь, ехавший неделю, может броситься не от злобы, а от того, что ему больно.

Второе. Вода прежде всего. До осмотра, до записи, до разговора с привёзшим.

Третье. Не кормить в первые сутки, кроме случая явного истощения. Голодный доедет, объевшийся — нет.

Четвёртое. Записать до того, как начать лечить. Иначе через месяц не вспомнишь, что было при поступлении, а что мы сами сделали.

Пятое. Спросить у привёзшего всё, что он знает, и записать даже враньё, пометив его как враньё.

Шестое. Отдельно спросить, чем кормили в дороге. Это чаще всего единственное достоверное сведение о питании.

Седьмое. Не давать имени в первый месяц.

Вот седьмое я объяснил отдельно, потому что его оспорил Пим.

— Господин Тобиас, а имя-то чем мешает?

— Тем, что названный зверь становится своим, — уточнил я. — А своего тяжелее отдать и тяжелее выпустить.

— Мы же их не отдаём.

— Пим, барсука мы весной выпустим, — напомнил я. — А ты его зовёшь Хмурым третий месяц.

Он замолчал.

Восьмое. Если не знаешь, что делать, — ничего не делай и запиши, что не знал.

Это последнее я списал у ИлариИ дословно, и она, прочитав, единственный раз за четыре года ничего не поправила.

* * *

А тринадцатого пришло письмо.

Не то, которого я ждал, — обычное, по почте, с Тиммом, с печатью Королевской порталльной службы.

Уведомление о том, что при действующем переходе номер четыре, Ольмерском, произведено изъятие животных в количестве двадцати двух голов.

И что означенные животные направляются в Реннельский приёмный двор.

Двадцать две головы.

При том, что в моей описи возможностей стояло восемь.

* * *

Двадцать две головы я считал весь вечер, и считал я не зверей, а место.

Выходило так.

Свободного места у меня было на восемь голов, из них шесть — первого разряда, две — второго.

Строящийся двор Бернат обещал к весне и обещал честно: к ноябрю стояли столбы и половина кровли.

Карантинный двор — четыре клетки, и все четыре заняты шестилапами и барсуком.

Двадцать две головы неизвестного разряда девать было некуда.

— Мавра, у нас есть каретный сарай.

— Есть, — подтвердила она. — Только там зимой посетители сидят.

— Мавра, посетителей зимой человек тридцать в воскре-

сенье.

— Тридцать человек, которые платят по медяку, — уточнила она. — Мальчик мой, я не спорю. Я к тому, чтоб ты посчитал.

Я посчитал.

Тридцать человек в воскресенье — это тридцать медяков, то есть за зиму золотых пять.

Двадцать две головы, замёрзшие в неотапливаемом сарае, — это двадцать две головы.

— Мавра, я освобождаю сарай.

— Правильно, — согласилась она. — А посетителей куда?

Вот на это я ответа не нашёл до самого утра.

Нашёл его Бернат, и нашёл в своей манере.

— Барон, а пустите их в зимовник.

— Бернат, там пеплогрив.

— Так пеплогрив за решёткой, — не принял он. — Барон, у вас зимовник шестьдесят шагов длиной, и в нём топится. Поставим лавки вдоль стены, и пусть сидят и смотрят.

— И сколько это будет стоить?

— Ничего, — отозвался он. — Лавки у нас есть, стоят в каретном.

* * *

Я поехал к Мареку сам, в Вельну, на другой день.

Он выслушал и очень долго молчал.

— Барон, это не моё уведомление.

— Магистр Хольт, оно за подписью вашего отдела.

— Оно за подписью отдела, а не за моей, — уточнил он и показал лист. — Смотрите сами.

Я посмотрел.

Подписи не было вовсе.

Стояла печать отдела и строка «по поручению».

— Магистр Хольт, а разве так бывает?

— Бывает и такое, — подтвердил Марек. — Когда подписывает не тот, кто вправе, а тот, кому поручено.

— И кто же может поручить?

— Начальник отдела, — доложил он. — Магистр Веккель.

Он положил лист на стол.

— Только магистр Веккель с двадцать шестого октября в отпуску по болезни, барон. И в отделе его нет уже три недели.

* * *

Мы сидели в его комнате при ратуше, и он поднял ещё три бумаги за последний месяц.

Все три были «по поручению».

Первая — то самое уведомление про двадцать две головы.

Вторая — распоряжение об изменении маршрута обхода для двух зрителей.

Третья — запрос в палату о выдаче архивного дела по Ольмерскому переходу.

— Магистр Хольт, а по третьей что-нибудь выдали?

— Выдали, — доложил он. — Пятого ноября.

— И кому его выдали?

— «Представителю отдела внештатных переходов», —

процитировал Марек. — Барон, имени в расписке нет. Есть должность.

Он положил бумаги стопкой.

— И вот что я вам скажу, барон. Я в этой службе одиннадцать лет и знаю, как это выглядит, когда начальник болеет.

— И как выглядит?

— Отдел стоит, — отозвался Марек Хольт. — Дела ждут. Никто ничего не подписывает, потому что боятся.

Он посмотрел на меня.

— А тут отдел работает быстрее, чем при нём.

* * *

Домой я вернулся к ночи и в ту же ночь написал Веккелю.

Не в службу — домой, на тот адрес в Вельне, который узнал два года назад через Ольбриха и ни разу не использовал.

Письмо вышло на трёх строках.

«Магистр Веккель.

Держатель уведомлён о направлении в приёмный двор двадцати двух голов при вместимости в восемь.

Держатель желает вам скорейшего выздоровления и просит подтвердить, что уведомление исходит от вас».

Ответа не было двадцать один день.

А на двадцать второй пришло письмо, и оно было не от него.

Оно было от женщины, писавшей крупно и неровно, и подписано «Гретхен Веккель, дочь».

«Господин барон.

Отец не может вам ответить сам. Он третью неделю не встаёт и не всегда узнаёт меня.

Ваше письмо я ему прочла. Он выслушал и просил передать вам два слова, и я передаю их так, как он сказал, хотя не понимаю, о чём речь.

Он сказал: не берите.

И ещё сказал: скажите ему — не берите ни одной».

Глава 3

«Не берите ни одной» - эту фразу я обдумывал одиннадцать дней и за одиннадцать дней не придумал, как это исполнить.

Начал я с того, что попробовал доехать до Веккеля.

Съездил в Вельну на другой же день после письма от дочери, нашёл дом — трёхэтажный, съёмный, на окраине, где живут служащие среднего разбора, — и меня не пустили.

Открыла та самая Гретхен, лет тридцати, с лицом человека, который третью неделю не спит.

— Господин барон, отец не принимает.

— Я к нему не по делу.

— Я знаю, зачем вы, — не приняла она. — Господин барон, к нему за месяц приходили четверо, и все не за делом.

— И кто же приходил?

Она помолчала.

— Двое из службы, — доложила Гретхен. — Один из палаты. И ещё один.

— А четвёртый кто?

— А четвёртый не назвался, — уточнила она. — Он приходил дважды и оба раза сидел у отца по часу, и отец после него был плох.

Я стоял на пороге.

— Гретхен, а как он выглядел?

— Пожилой, — отозвалась она. — В тёмном. Господин барон, я вам больше ничего не скажу, и не потому, что не хочу.

— А почему не скажете?

— Потому что я его толком не разглядела, — уточнила она. — Он оба раза приходил в сумерки и стоял ко мне спиной.

* * *

Уходя, я задал вопрос, который держал всю дорогу от ворот.

— Гретхен, а отец ваш понимает, кто к нему ходит?

Она посмотрела на меня.

— Отец меня не всегда узнаёт, — доложила она. — А его узнал оба раза.

Она взялась за дверь.

— И вот что, господин барон. После первого раза отец велел мне вынуть из стола монету и спрятать. Я спрятала.

— А после второго?

— А после второго велел отдать, — отозвалась Гретхен Веккель. — И я отдала.

* * *

Проблема была не в том, что я не хотел.

Проблема была в том, что отказаться я не мог.

Устав, раздел о приёмных дворах — тот самый, который я же и вычитывал в июне, — говорил ясно: держатель приёмного двора обязан принять доставленное. Отказ возможен

один: при отсутствии вместимости, и вместимость эта устанавливается описью, а опись подаётся заранее.

Моя опись стояла на восьми.

Везли двадцать две.

— Ксаверий, я могу отказать в четырнадцати?

Можешь,— подтвердил Кеша. — И их отвезут обратно за двести вёрст, и половина по дороге сдохнет.

— А если я приму всех?

Тогда ты нарушишь собственную опись, — уточнил Ксаверий Аргентум Третий. — И тот, кто это подписывал «по поручению», получит ровно то, чего добивался: держатель, превысивший вместимость.

* * *

Вот тут я и понял, что это ловушка.

Не потому, что двадцать две — много.

Потому что при любом моём решении я оказывался виноват.

Отказал — держатель приёмного двора не исполнил предписания. Четырнадцать голов везут обратно, и на них потом составят опись падежа, и опись эта ляжет ко мне в дело.

Принял — держатель превысил объявленную вместимость. Это нарушение устава, и его достаточно, чтобы приёмный двор закрыть, а меня отстранить.

— Илария, у вас в лечебнице такое бывает?

— Бывает, — не приняла она. — Тобиас, ко мне раз в месяц приводят скотину, которую я не могу вылечить и не

могу отпустить.

— И что вы тогда делаете?

— Я записываю, — отозвалась она. — Тобиас, я не выигрываю. Я делаю так, чтобы потом было видно, что именно я выбрала и почему.

* * *

Кеша всё это время считал сроки и на четвёртый день положил передо мной лист.

Реннел, посмотри на даты.

Я посмотрел.

Двадцать шестое октября — Веккель уходит в отпуск по болезни.

Пятое ноября — из палаты выдано архивное дело по Ольмерскому переходу «представителю отдела».

Одиннадцатое ноября — изъятие на Ольмерском.

Тринадцатое — уведомление ко мне.

— Ксаверий, две недели.

Двенадцать дней, — поправил он. — Реннел, между болезнью начальника и изъятием на переходе, который он вёл лично, прошло двенадцать дней.

— Ксаверий, это может быть совпадение.

Может, — согласился Ксаверий Аргентум Третий. — А теперь посчитай четвёртую дату.

Я посчитал.

Двадцать вторая голова поступила «из иного источника» и была направлена «тем же порядком» — то есть попала в

партию уже после изъятия.

Когда именно — в бумагах не стояло.

Но партия вышла из Ольмерского двенадцатого, и телег было пять, и пятая шла отдельно.

Реннел, её присоединили в пути, — договорил дракон. — Кто-то знал маршрут, догнал обоз и поставил свою клетку на пятую телегу.

* * *

В итоге появился и третий вариант и придумал его Крич.

Я приехал к нему двадцать четвёртого ноября, изложил и получил ответ через полчаса молчания.

— Барон, вы неверно читаете устав.

— Магистр Крич, я его читал шесть раз.

— И все шесть раз читали пункт про вместимость, — не принял он. — А в разделе есть ещё пункт четвёртый.

Он поднял книгу и открыл на закладке, которая там уже стояла.

«В случае доставки, превышающей объявленную вместимость, держатель принимает животных на временное содержание с уведомлением о невозможности выдержки по уставу».

Я прочёл дважды.

— Магистр Крич, что такое временное содержание?

— То, чего никто не делал ни разу за двенадцать лет существования этого пункта, — доложил он.

Разница была вот в чём.

Приём по уставу означает: карантин двадцать один день, отдельное помещение, отдельная посуда, отдельный уход, записи по форме.

Временное содержание означает: держатель обязан кормить, поить и не допускать смертности. И всё.

Никакого карантина. Никаких требований к помещению.

И — главное — держатель официально уведомляет, что выдержка не производится и он за последствия не отвечает.

— Магистр Крич, но это же опасно.

— Опасно, — подтвердил он. — Барон, вы возьмёте двадцать две головы неизвестного происхождения без карантина. Если среди них будет больное, вы потеряете всё собрание.

— Тогда зачем вы мне его показываете?

— Затем, что вы спросили, — не принял магистр Виллем Крич. — Барон, я вам показал третий выход. Он хуже двух первых. Он просто есть.

* * *

Я думал ещё двое суток и решил иначе, и решение это было четвёртым.

Я принял четырнадцать по уставу и восемь — временным содержанием.

Наоборот.

Не «восемь по описи, четырнадцать сверх», а «четырнадцать в карантин, восемь во временное».

Объяснил я это в уведомлении на полутора страницах, и суть была такая.

Опись вместимости составлена по местам, а места можно уплотнить, если отказаться от того, от чего можно отказаться.

Отказался я от посетителей.

Каретный сарай, зимовник и оба свободных хлева переставали быть местами для людей и становились карантинными помещениями на зиму.

Итого мест по уставу — четырнадцать.

Остальные восемь — во временное, и уведомление об этом я подал одновременно.

* * *

Уведомление о временном содержании я составлял с Кричем вдвоём, и составляли мы его четыре часа.

Он правил каждую третью строку, и правил не по смыслу, а по формулировке.

— Барон, у вас тут «держатель не отвечает за последствия».

— Так написано в уставе.

— В уставе написано «не отвечает за последствия невыдержки», — не принял он. — Барон, разница в одном слове, и это слово вас потом спасёт.

Он подчеркнул.

— Дальше. У вас «принимаю восемь голов во временное содержание». Пишите «принимаю на временное содержание восемь голов из числа доставленных двадцати двух».

— Магистр Крич, какая разница?

— В первом случае вы приняли восемь, — уточнил он.
— Во втором — вы приняли двадцать две и восемь из них поместили иначе. Барон, через год кто-нибудь спросит, куда делись четырнадцать.

Я исправил.

— И последнее, — договорил Крич. — Барон, поставьте дату дважды. Вверху и внизу.

— А зачем ставить дважды?

— Затем, что бумагу с одной датой можно подшить в другое дело, — отозвался магистр Виллем Крич. — А с двумя нельзя: сразу видно, что вырвано из своего.

* * *

Мавра, узнав, задала единственный вопрос.

— Мальчик мой, а зимой мы на что жить будем?

— На тропу и на жалованье держателя.

— А как же посетители?

— Посетителей не будет до апреля, — доложил я.

Она посчитала.

— Это пять золотых, — определила Мавра.

— Пять с четвертью за зиму.

— Ну и ладно, — отозвалась она и ушла ставить чайник.

Вот это «ну и ладно» стоило мне потом больше, чем сами пять золотых, потому что я две недели ходил и думал, почему она не спорила.

Спросил я её в декабре.

— Мавра, ты почему тогда не спорила?

— А чего спорить, — не приняла она. — Ты бы всё равно взял.

— А если бы я их не взял?

— Тогда бы я спорила, — отозвалась Мавра.

* * *

Готовились мы двенадцать дней, и это была самая тяжёлая подготовка за пять лет.

Каретный сарай переделывали под карантин.

Бернат разгородил его на шесть отсеков, каждый со своей дверью и своим поддоном, и на седьмой день сказал вещь, из-за которой мы переделали половину.

— Барон, у нас тут воздух общий.

— Бернат, это сарай. Он один.

— Он один, и в нём шесть отсеков, — не принял он. — А карантин — это чтоб не смешивалось. Барон, вы их рассадите, а дышать они будут одним.

Я пошёл к Иларии.

Она подтвердила и добавила хуже.

— Тобиас, он прав, и это ещё полбеды. Хуже то, что мы будем ходить из отсека в отсек в одних сапогах.

Переделали так.

Шесть отсеков с отдельными выходами наружу, а не в общий проход. Вход в каждый — только со двора.

У каждого входа — корыто с золяным раствором для сапог. Меняется ежедневно.

Инструмент и посуда — свои на каждый отсек, помечены

цветом. Красили сами, четыре вечера, и краску Пим ставил в журнал как расход.

Порядок обхода — от здоровых к сомнительным, никогда наоборот.

Вот последнее оказалось самым трудным, потому что его надо было не построить, а запомнить, и первые три недели мы путались все, включая меня.

* * *

Привезли их девятого декабря, на пяти телегах, в мороз. Двадцать две головы оказались вот чем.

Двенадцать — мелкие, размером с крысу, серые, с четырьмя парами лап. Не насекомые: с шерстью и с тёплой кровью. Их везли в одном ящике, все двенадцать, и в ящике было тепло, потому что они грелись друг о друга.

Шесть — птицы. Мелкие, бурые, ничем не примечательные, если бы не одно: у всех шести не было хвостов. Не отрублены — их не было по устройству.

Три — я не знаю, как это описать, и в племенной книге у меня записано «три особи, сходные с крупной жабой, длина в локоть, кожа сухая».

Про первые три группы скажу коротко, потому что мы с ними за зиму разобрались, и разобрались буднично.

Двенадцать восьмилапых оказались стайными и не переносили одиночества: рассаженные по одному, все двенадцать за сутки перестали есть, а сведённые обратно — начали через час.

Это выяснил Пим на второй день и выяснил дорогой ценой: одну мы едва не потеряли.

Записали: «Не разделять. Минимальная группа не установлена, но менее двенадцати не пробовать без нужды».

Шесть бесхвостых птиц оказались не бесхвостыми.

Хвост у них был — короткий, в два пера, прижатый к телу и не видный, пока птица не взлетит.

Обнаружил это Илмет, наблюдавший их четыре дня и на пятый уронивший в отсек шапку.

Птица взлетела.

Хвост раскрылся веером и оказался вдвое длиннее тела.

— Господин, я шапку уронил нарочно.

— Илмет, я догадался.

— Господин, я в журнал так и записал, — доложил он. — «Уронил шапку нарочно, чтоб поднять птицу». Вы не сердитесь?

— Не сержусь, — отозвался я. — Записал — значит, не жульничал.

Три «жабы» оказались единственными, кто дал нам болезнь.

На девятнадцатый день у одной пошли язвы на брюхе, и Илария изолировала всех троих, и мы шесть недель ждали, перекинется ли.

Не перекинулось.

Больная умерла в феврале, две остались, и вот тогда я в первый раз по-настоящему обрадовался тому, что мы пере-

делали сарай на шесть отдельных выходов.

И была еще одна особь. Её везли отдельно, на пятой телеге, в клетке, обшитой холстом со всех сторон.

Возчик, снимая холст, предупредил.

— Барон, вы сперва отойдите.

— А что там у вас?

— А я и не знаю, — доложил он. — Барон, нам велели не открывать и не смотреть.

— А кто вам велел?

— В бумаге написано, — не принял он. — Я бумагу не читал, я возчик.

Я отошёл на четыре шага и велел отойти всем.

Он снял холст.

* * *

В клетке сидело животное величиной с крупную собаку, и оно смотрело на нас.

Не так, как смотрит зверь.

Зверь смотрит в одну точку или водит взглядом. Этот обвёл нас по очереди — меня, Гуша, Пима, Илмета, возчика, — задержавшись на каждом, и сделал нас в том порядке, в каком мы стояли.

Потом посмотрел на клетку.

Потом опять на нас.

Шерсть тёмная, короткая. Тело плотное, лапы четыре, передние заметно длиннее задних. Голова круглая, лоб высокий, уши маленькие и подвижные.

И пальцы.

На передних лапах у него были пальцы, четыре и пятый отдельно, и он ими держался за прут.

* * *

— Ксаверий, ты его видишь?

Реннел, отойди ещё на два шага.

— Ксаверий, что это?

Я не знаю, — отозвался Ксаверий Аргентум Третий, и голос у него был тот самый, какой я слышал за пять лет дважды. — *Реннел, я не знаю, и мне это очень не нравится.*

— Ты можешь к нему прислушаться?

Могу, — подтвердил дракон. — *И не буду.*

— А почему не будешь?

Потому что он смотрит на меня, — уточнил Ксаверий Аргентум Третий. — *Реннел, я на плече у тебя, я размером с кота и я похож на зверя. Он посмотрел на меня последним и смотрел дольше, чем на остальных.*

* * *

Первое, что я сделал, — не стал его трогать.

Второе — отвёл всех.

Третье — сел на бревно в двадцати шагах и просидел там до вечера, глядя на существо.

Записал за эти часы вот что.

Он не метался. Ни разу за четыре часа. Зверь в незнакомой клетке ходит вдоль прута или замирает в углу. Этот сидел посередине.

Он трогал. Прут, поддон, край миски, солому. Не грыз и не рвал — трогал пальцами и отпускал.

Он смотрел на дверь. Не на меня — на дверь сарая, каждый раз, когда она открывалась, и до того, как в неё входили.

То есть он слышал шаги снаружи и знал, что дверь откроется.

И он ел не сразу.

Корм ему положили в полдень. Он подошёл, обнюхал, отошёл. Подошёл через час. Отошёл.

Съел в четвёртом часу, когда во дворе никого не было.

* * *

Гуш простоял со мной последний час и высказался, уходя.

— Господин, он не зверь.

— Гуш, ты понимаешь, что говоришь?

— Понимаю, — не принял он. — Господин, я тридцать лет со зверьём. Зверь в клетке или бьётся, или ложится. А этот сидит и работает.

— Что значит работает?

— Смотрит и запоминает, — уточнил Гуш. — Господин, он вас за четыре часа выучил. Вы у него уже свой.

Он поправил шапку.

— И вот что ещё скажу, и вы меня простите. Вы к нему в клетку не заходите.

— Гуш, я и не собирался.

— Соберётесь, — не согласился он. — Я вас пять лет знаю.

* * *

Я послал за Иларией в тот же час, и она приехала к темноте.

Осматривала она его через прут, не входя, полтора часа. Вышла и села на бревно.

— Тобиас, я вам скажу, и вы меня не перебивайте, пока я не закончу.

— Слушаю и не перебиваю.

— Он в хорошем состоянии, — начала она. — Не истощён, не обезвожен, шерсть целая, глаза чистые. Его везли хорошо и кормили правильно.

— Это же неплохо для него.

— Это очень плохо, — не приняла Илария. — Тобиас, за полгода к нам привезли двадцать девять голов, и все они были в состоянии от плохого до ужасного. А этого везли, как везут что-то ценное.

Она подняла глаза.

— Тобиас, его не изъяли. Его доставили.

* * *

Мы разбирали бумаги весь вечер.

Опись изъятых по Ольмерскому переходу шла на четырёх листах, и двадцать одна голова была в ней расписана: где взято, у кого, при каких обстоятельствах.

Двадцать вторая шла отдельной строкой в конце.

«Одна голова, вид не установлен. Поступила в отдел из иного источника. Направляется тем же порядком».

— «Из иного источника», — прочёл я вслух.

— Тобиас, что это значит?

— Не знаю, — признал я. — Илария, я за четыре года выучил, что «иной порядок» и «иной источник» в этих бумагах означают одно.

— И что же они означают?

— Что писавший не хотел писать правду и не стал врать,

— отозвался я.

* * *

Кеша в тот вечер ушёл из кухни первым, чего не делал никогда.

Я нашёл его в кабинете, на подоконнике, и он сидел спиной к окну, что тоже было не в его манере.

— Ксаверий, поговорим?

Реннел, я тебе скажу три вещи и после этого хотел бы остаться один.

— Говори, я выдержу.

Первое. Я сто восемьдесят семь лет прожил и видел четыре разумных вида: людей, драконов, троллей и кайраков.

— Ксаверий, тролли и кайраки — это люди.

Не перебивай, — не принял он. — Второе. Ни один из четырёх при первой встрече не предлагал мне воду.

Он помолчал.

Третье и главное. Реннел, я боюсь.

Я сел.

— Ксаверий, ты за пять лет ни разу этого не говорил.

Мне не за что было, — уточнил Ксаверий Аргентум Третий. — Реннел, я боюсь не его. Я боюсь того, что через месяцы ты поймёшь, кого тебе привезли, и после этого твоя жизнь кончится, а начнётся другая.

* * *

Ночью я не спал и вышел к сараю в третьем часу.

Он не спал тоже.

Сидел в той же позе, у прута, и когда я подошёл с фонарём — повернул голову и посмотрел на фонарь, а потом на меня. Я поставил фонарь на землю и сел напротив, шагах в трёх. Мы просидели так, наверное, полчаса.

Потом он сделал вещь, от которой я до сих пор просыпаюсь.

Он придвинул к себе миску с водой — ту, что стояла в клетке, — посмотрел на неё, потом на меня.

И толкнул её ко мне.

Через прут, лапой, так далеко, до куда мог достать.

* * *

Я сидел на снегу и не двигался.

Потом очень медленно придвинул миску обратно.

Он посмотрел на неё. Потом на меня.

И толкнул снова.

— Ксаверий, ты видишь? - спросил я дракона, который подошел спустя минут десять после того, как я вышел на улицу, и до этого момента как и я молчал, сидя у меня на плече.
Я здесь. Я всё вижу.

— Ксаверий, он мне предлагает воду.

Да, он предлагает тебе воду, — подтвердил Ксаверий Аргентум Третий, и голос у него сел. — *Реннел, встань очень медленно и уйди в дом.*

— Ксаверий, погоди.

Реннел, уйди в дом, — повторил дракон. — *Не потому, что опасно. Потому что тебе надо сесть и подумать, а ты сейчас сидишь на снегу в третьем часу ночи и не думаешь.*

* * *

Я ушёл.

И до утра сидел в кабинете, и к утру записал в племенную книгу одну строку, которую потом не менял.

«Особь двадцать вторая. Вид не установлен. Предложила наблюдателю воду».

А под строкой оставил пустое место в полстраницы.

Потому что не знал, что туда писать.

* * *

Утром я собрал всех и поставил один вопрос.

Не «кто это» — на него у нас не было ответа.

Другой.

— Как мы будем его содержать, пока не поймём, кто он?

Отвечали долго, и ответы разделились.

Пим предложил вести его как обычного зверя, по всем графам, и добавить графу для необычного.

Илмет предложил обратное: перестать вести как зверя и завести отдельную книгу.

Гуш сказал, что ему всё равно, как записывать, а важно, что кормить и чистить будет он один и никто другой.

Бернат спросил, надо ли переделывать клетку, и получил от меня «пока нет».

Илария молчала дольше всех и высказалась последней.

— Тобиас, вы задали неправильный вопрос.

— А какой правильный?

— Не «как содержать», — уточнила она. — А «что мы делаем, если он не зверь».

В кухне стало тихо.

— Илария, поясните.

— Поясняю, — согласилась она. — Тобиас, у вас в описи вместимости написано «двадцать две головы». В уставе написано «животные». В предписании — «изъятное живое».

Она положила ладони на стол.

— И если он не животное, то всё это к нему не применяется. Ни устав, ни предписание, ни ваша опись. Он у вас не по бумаге сидит.

— А как он тогда у меня сидит?

— А никак, — отозвалась Илария тен Овеск. — Он у вас сидит в клетке просто так. И это, Тобиас, называется совсем другим словом.

* * *

Мавра всё это время стояла у печи и обернулась только тут.

— А девочка-то права.

— Мавра, не начинай.

— Права, и ты это понял раньше неё, — не приняла она.

— Мальчик мой, ты потому и вышел к нему ночью один. Ты не зверя смотреть ходил.

Она вытерла руки.

— И вот что я тебе скажу. Пока вы тут не разобрались, я к нему носить еду буду сама.

— Мавра, туда Гуш носит.

— Гуш пусть чистит, — распорядилась она. — А еду носить буду я.

— А почему именно ты?

— Потому что зверю корм задают, — отозвалась Мавра.

— А человеку подают. Я разницу знаю, а вы нет.

* * *

Носила она ему еду с того дня и до самой весны.

Первую неделю ставила миску у прута и отходила.

На второй стала ставить и стоять рядом, молча, пока он не начнёт.

На третьей заговорила.

Не с ним — при нём. Рассказывала, что в доме, кто чем занят, какая погода, что печь дымит и что Бернат обещал посмотреть.

Я это заметил на четвёртый день и спросил.

— Мавра, ты с ним разговариваешь?

— При нём разговариваю, — не приняла она.

— А в чём тут разница?

— Разница в том, что я от него ответа не жду, — уточнила Мавра. — Мальчик мой, я так сорок лет с твоим прадедом разговаривала, когда он в последние два года лежал и не отвечал. Привычка.

Я записал в племенную книгу и это, отдельной строкой, потому что не знал, куда ещё записать.

«Мавра носит корм и говорит при нём. Особь двадцать вторая при этом не ест, но и не отходит. Начинает есть, когда она замолкает».

* * *

А в феврале случилось то, ради чего я эту главу и записываю.

Мавра пришла ко мне вечером, села и сказала одно.

— Мальчик мой, он меня слушает.

— Мавра, ты при нём полтора месяца говоришь.

— Он меня слушает по-другому, — не приняла она. — Тобиас, я сегодня замолчала на середине, потому что забыла, чего говорила. А он подождал и голову повернул.

— Мавра, зверь тоже поворачивает голову на тишину.

— Зверь на звук поворачивает, — отрезала она. — А этот повернул, когда звук кончился.

Глава 4

Весна вышла такая, что я к июню сбился со счёта видов и завёл отдельную книгу.

Партий за весну пришло четыре.

В марте — семь голов, изъятых у перевозчика на Кальтенской заставе. В апреле — три, и эти три поступили добровольно, чего не случалось ни разу. В мае — одиннадцать, с Вельненского перехода. И в июне две, про которых надо говорить отдельно.

Итого за весну — двадцать три головы и, по нашему счёту, девять новых видов.

Счёт этот, впрочем, был наш и ничей больше: в палате из девяти признали четыре, а по пяти запросили дополнительных сведений, которых у нас не было.

Плюс одна смерть и одна отправка обратно, о которых я обязан сказать сразу, потому что иначе выйдет, что у нас всё удавалось.

Падёж случился в третьей партии, на четвёртые сутки. Мелкий зверь, вида мы не установили, умер ночью, и причины мы не нашли.

Вскрывали втроём — я, Илария и Пим, — и это было первое вскрытие, на котором он присутствовал не подавальщиком.

Не нашли ничего.

Ни воспаления, ни закупорки, ни следов удара. Здоровое животное, умершее за одну ночь.

— Илария, так не бывает.

— Бывает, — не приняла она, вытирая руки. — Тобиас, я двенадцать лет вскрываю и раз в год нахожу вот такое: всё цело, а зверь мёртв.

— И что вы тогда пишете?

— Пишу «причина не установлена», — отозвалась она. — И, Тобиас, это единственная честная запись, какая тут возможна. Всё остальное будет догадкой, которую через год кто-нибудь прочтёт как факт.

Отправка обратно была хуже.

Из пятой партии нам привезли зверя, которого мы не смогли принять: он рыл.

Рыл так, что за первую ночь ушёл из отсека на аршин вглубь, и его достали утром из-под фундамента.

Четвёртый разряд, тот самый, который Гуш велел не брать и который я записал в опись как «не принимаем».

Я написал в отдел и попросил забрать.

Ответ пришёл через одиннадцать дней: забрать некуда, направьте по своему усмотрению.

Я держал его ещё месяц в бочке с песком, и это единственное содержание за все годы, которого я стыжусь.

Потом договорился с Дербеном: при складе у него был каменный подвал.

Зверь прожил там четыре года и умер своей смертью, и

Дербен трижды присылал мне записи, писанные приказчиком под диктовку.

* * *

Прежде чем рассказывать про весну, надо сказать, как мы вообще выжили в ту зиму, потому что по деньгам мы не выживали.

Читал я расчёт вслух, как повелось с позапрошлой зимы, и читал недолго, потому что читать было нечего.

Прихода за квартал набиралось шестьдесят два: двадцать жалованья держателя по второму разряду, тридцать от консорциума и двенадцать казённых на корма. Пошлины не было — тропа стояла до марта. Посетителей тоже, потому что сарай ушёл под карантин.

Расхода выходило сто пятнадцать: сорок один на жалование и семьдесят четыре на корма, потому что голов у нас стало тридцать девять вместо прежних двадцати.

— Пятьдесят три в минус, — подытожил я и отложил лист.

В кухне помолчали.

Первым отозвался Бернат.

— Барон, а вы бурты считали?

— Считал. Два бурта дают личинок на шестилапов, и всё.

— А почему не третий?

— Бернат, у меня навоза на два.

— У вас навоза на два, — не принял он. — А в Овеське его девать некуда. Барон, у них там сорок дворов и у каждого

корова.

Я, кажется, минуту молчал.

— Бернат, вы предлагаете купить навоз?

— Я предлагаю его возить, — уточнил он. — Даром. Барон, любой мужик вам отдаст, лишь бы вывезли.

* * *

Возили с января по март, своими телегами, в свободные дни, и первую поездку я сделал сам, потому что не поверил.

Мужик в Овеське, к которому мы заехали, выслушал и переспросил дважды.

— Барон, вы навоз просите?

— Прошу его даром.

— За деньги, что ли?

— Даром, — уточнил я. — Мы своими телегами и своими руками.

Он посмотрел на меня, потом на телегу, потом опять на меня.

— А вам его зачем?

— Червей разводить.

— Это каких же червей?

— Обыкновенных, — отозвался я. — На корм зверю.

Он подумал полминуты и сделал жест, которого я не ждал: снял шапку.

— Барон, никогда бы не поверил, если бы вы сами не приехали, — усмехнулся он. — Мужикам скажу, что вы лично за навозом приехали, так не поверят же! - добавил он и я

улыбнулся.

- Поверят, - спокойно ответил я. - У других я тоже буду просить.

Заложили ещё четыре бурта.

К апрелю личинки покрывали шестилапов целиком и наполовину — коврового, и это сняло с кормового расхода двадцать два золотых за квартал.

А в мае Пим предложил то, до чего никто из нас не додумался.

— Господин Тобиас, а давайте лишних продавать.

— И кому продавать, Пим?

— Рыбакам, — доложил он. — Господин Тобиас, у нас в Вельне на реке рыбаков десятка два, и они червя копают сами.

Первую партию мы продали в июне за восемь медяков, и продавал её Пим сам, потому что придумал он.

Вернулся он к вечеру, положил медяки на стол и доложил по форме.

— Господин Тобиас, восемь медяков. Взял один рыбак, остальные смотрели.

— А почему остальные не взяли?

— Не поверили, что у нас крупнее, — отозвался он. — Господин Тобиас, я им сказал приходить через неделю и посмотреть, сколько тот наловил.

Через неделю взяли четверо.

К августу мы вышли на два золотых в месяц, и с тех пор навозные бурты числились в приходной книге отдельной статьёй.

Мавра над этой статьёй смеялась вслух — единственной за все годы.

— Мальчик мой, ты в книгу-то посмотри, чем живёшь.

— Мавра, живу я тропой и жалованьем.

— Ты живёшь навозом, — не приняла она. — И, между прочим, правильно живёшь. Навоз-то он всегда будет.

* * *

Из третьей партии самым трудным оказался тот, кого мы полгода звали ковровым.

Плоское животное шириной в две ладони и длиной в локоть, с бахромой по краю, которая при движении шла волной.

Ног у него не было.

Он перемещался этой бахромой, как перемещается по земле многоножка, и делал это медленно и совершенно бесшумно.

Первую неделю он не двигался вовсе.

— Илария, а он вообще живой?

— Живой, — подтвердила она, приложив ладонь. — Тобиас, он тёплый и дышит. Тут другое: он не хочет.

— Чего именно не хочет?

— Двигаться при нас, — уточнила Илария.

Мы проверили это способом, который придумал Гуш и

который потом использовали на всех пугливых.

Насыпали вокруг клетки тонкий слой муки и ушли на ночь.

Наутро мука была вся в бороздах.

* * *

К осени мы знали про него три вещи, и все три достались тяжело.

Что он двигается только в полной тишине, мы выяснили за месяц муки. Довольно было шагов в двадцати шагах — и бахрома замирала, и он лежал плоско, как брошенная тряпка. Пим ради этого месяц вставал в четвёртом часу и сидел у клетки не шевелясь, и к октябрю умел сидеть неподвижно дольше Илмета, что в нашем доме было почти званием.

Что он ест падаль, мы поняли случайно и неприятно.

В клетку по недосмотру забежала мышь — у нас их было полно, пока не появились тихокрылы, — и просидела там сутки. Ковровый её не тронул. Она бегала по нему, он лежал.

Наутро Гуш эту же мышь поймал и, не сказав мне ни слова, убил и положил обратно.

Через час её не было.

— Гуш, ты зачем это сделал?

— Проверил, — доложил он.

— Гуш, ты мне не сказал.

— Не сказал, — согласился он и поставил скребок к стене.

— Господин, вы бы велели не убивать.

Я стоял и понимал, что он прав и что мне это не нравится.

— Гуш, впредь спрашивай.

— Спрошу, — не принял он. — А вы впредь отвечайте не сразу.

А про то, что он лазает, мы узнали в декабре и узнали ценой двух суток.

Он исчез.

Клетка была цела, дверь заперта, поддон на месте — и пу-сто. Мы разобрали в отсеке подстилку, простучали пол, перерыли солому и к вечеру второго дня всерьёз обсуждали, не унёс ли его кто.

Нашёл Илмет, и нашёл он его, задрав голову.

Ковровый сидел под кровлей, в углу, прижавшись к балке, и был почти не виден, потому что бахрама у него по краю той же масти, что тень.

Он ушёл туда по стене.

Гуш после этого сказал ту фразу, которую я потом внёс в наставление.

— Господин, я вам говорил про четвёртый разряд.

— Гуш, так он же плоский.

— Он лазает, — не принял он. — Господин, вы его записали в первый разряд, потому что он не ходит. А он не ходит и лазает. У вас разряды по одному признаку, а надо по двум.

Разряды я переделал в тот же месяц.

* * *

Из четвёртой партии — та, что поступила добровольно, — были три существа, которых я до сих пор считаю самой

странной находкой за все годы.

Привёз их человек лет пятидесяти, небогатый, на своей телеге, и привёз за свои деньги, проехав девяносто вёрст.

Звали его Ханнес, он был часовщик из Кальтена.

— Барон, я их держу четыре года и больше не могу.

— Они у вас больны?

— Они здоровы, — не принял он. — Барон, я не могу, потому что я понял, что они считают.

* * *

Существа были размером с крупную мышь, о шести ногах, с твёрдым панцирем и с усиками, которые я сперва принял за антенны насекомого.

Насекомыми они не были: панцирь у них рос, а не менялся, и внутри была кровь.

А считали они вот как.

Ханнес показал нам это в первый же вечер и показывал полтора часа.

Он клал перед ними зёрна.

Одно — они не двигались. Два — не двигались. Три — все трое разом поворачивались к зёрнам и подходили.

Четыре — не двигались.

Пять — не двигались.

Шесть — подходили.

Девять — подходили.

— Барон, они идут на то, что делится на три.

* * *

Мы проверяли это до августа и проверили сорок с чем-то раз, и проверял в основном Пим, потому что у меня не хватало терпения.

Он выкладывал зёрна, ждал, записывал и выкладывал снова, по сорок минут за раз, и к июлю строк в тетради стало столько, что мы перестали их считать и стали считать исключения.

Исключений вышло три.

В темноте не работало вовсе: они не двигались ни на три, ни на шесть, ни на девять, и мы сперва решили, что дело в счёте, а оказалось — в том, что они не видят.

Разного размера тоже не работало. Три щепки — подходили. Две щепки и камешек — нет, хотя предметов те же три.

А третье исключение обнаружилось в конце июля и обнаружилось не у Пима, а у Ирмы, которая тогда работала у нас третий месяц и к этим тварям отношения не имела.

Она подметала и смела зёрна в кучу.

— Господин Тобиас, я, кажется, испортила.

— Что вы испортили?

— Тут лежало разложено, — дoloжила она. — Я не знала, что нельзя, и смела.

Мы выложили заново — вразброс. Подошли.

Смели в кучу — не подошли.

И вот тогда стало ясно, что мы полгода проверяли не то, что думали.

Потому что до девяти работало, а с двенадцати перестало,

и объяснить это счётом я не мог никак.

— Илария, а вы что об этом думаете?

— Думаю, что они не считают, — отозвалась она.

— Илария, они подходят на три, шесть и девять.

— Подходят, не спорю, — согласилась она. — Тобиас, а вы уверены, что дело в числе? Три предмета одного размера вразброс — это ещё и картинка. Может, они узнают картинку, а не количество.

Вот на этом мы и застряли на два года, потому что придумать опыт, который отличает счёт от узнавания, я не смог.

Записал честно: «Проверить нечем. Оставить как есть до появления способа».

* * *

Ханнеса я спросил, зачем он их вёз за девяносто вёрст.

Он ответил не сразу.

— Барон, я часовщик. Я тридцать лет считаю зубья и делаю так, чтоб сходилось.

— И к чему вы это?

— И я четыре года смотрел, как эта тварь делает то же самое, — доложил Ханнес. — Барон, я её кормил, чистил и любил. А потом однажды понял, что она умнее моего ученика.

Он помолчал.

— И я испугался, — договорил он. — И год держал, и боялся, и теперь привёз.

Я предложил ему остаться на день.

Он остался, и весь день ходил за Пимом, и уезжая, попросил единственного: писать ему раз в год, живы ли.

Я писал ему одиннадцать лет.

* * *

Про третью партию надо досказать, потому что из семи голов я описал одну, а было там ещё двое, о которых стоит сказать.

Двое были самцы одного вида, размером с зайца, с длинными задними ногами и коротким плотным телом.

Они дрались.

Не насмерть и не всерьёз: сходились дважды в сутки, на рассвете и в сумерках, толкались передними лапами минуты по три и расходились.

Мы рассадили их на третий день, потому что у одного пошла кровь из носа.

И оба перестали есть.

Первым забеспокоился Гаст — он тогда работал у нас третий месяц и к зверю не допускался, а тут пришёл ко мне сам, что для него было делом небывалым.

— Барон, я, наверно, зря.

— Говори, чего зря.

— Те двое, которых рассадили, — доложил он. — Они у меня в проходе стоят, я мимо ношу воду. Они не едят.

— Сколько не едят?

— Второй день, — уточнил Гаст. — Барон, я, может, ошибаюсь.

— Ты не ошибаешься, — отозвался я. — Ты в книгу тревог записал?

— Не записал, — признался он. — Я писать плохо умею.

— Тогда идём, я запишу с твоих слов, — распорядился я.

— И, Гаст, запись будет твоя, не моя.

Свели обратно — стали есть в тот же час.

— Илария, что это?

— Тобиас, это у них общение, — отозвалась она. — Не драка.

— Илария, у одного кровь.

— И что? — не приняла она. — Тобиас, у мужиков в Овеське после престольного праздника у половины кровь. Это не значит, что их надо рассаживать.

Я записал это в наставление отдельным пунктом, потому что мы едва не угробили двоих из лучших побуждений.

«Не всякое столкновение есть драка. Проверять, расходятся ли сами, повторяется ли в одно время суток и ест ли зверь после. Если ест — не разделять».

* * *

Из пятой партии ничего примечательного не вышло, кроме одного, и это одно едва не сорвало нам весь журнал.

Одиннадцать голов оказались одним видом.

Мелкие, размером с кулак, шарообразные, покрытые жёстким пухом, и все одиннадцать были совершенно одинаковы.

Настолько, что мы их не различали.

Пим бился над этим неделю и в итоге пометил каждого краской, потому что иначе журнал вести было невозможно.

А в сентябре обнаружилось, что метки перепутались.

Не стёрлись — перепутались: у трёх оказалось по две метки, у двух ни одной.

— Пим, ты их перекрашивал?

— Не перекрашивал, — доложил он. — Господин Тобиас, я вообще к ним не заходил четыре дня.

Мы наблюдали за ними трое суток и увидели.

Они тёрлись друг о друга.

Плотно, подолгу, по двое и по трое, и краска при этом переходила с одного на другого.

— Ксаверий, зачем зверю тереться о другого?

Чтоб пахнуть одинаково, — отозвался Ксаверий Аргентум Третий. — *Реннел, это делают многие стайные. Гиены, барсуки, некоторые птицы.*

— И для чего им это?

Чтоб узнавать своих, — уточнил дракон. — *И чтобы чужой не мог притвориться.*

Я записал и приписал ниже вопрос, до которого дошёл через минуту:

«Если они пахнут одинаково нарочно, то как они различают друг друга? И различают ли?»

* * *

Двадцать вторую я всю весну наблюдал и почти ничего не понимал.

Записывал, впрочем, ежедневно, и к июню в отдельной книге у меня набралось сто с чем-то страниц.

Существенного набралось немного, и всё оно было странным.

Она не спала подряд. Спала кусками по два-три часа, четырежды в сутки, и промежутки между снами были неровные, и я полгода пытался найти в них порядок и не нашёл.

А главное — она разбирала.

Всё, что попадало в клетку и что можно было разобрать: солому на волокна, кость на щепки, тряпку на нитки. И раскладывала — не в кучу, а рядами, и ряды эти держались по несколько дней, пока Гуш не убирал.

Гуш, кстати, к марту перестал их убирать и стал обходить, и я узнал об этом случайно.

— Гуш, ты почему рядки не трогаешь?

— Он их делает, — доложил он.

— Гуш, это мусор.

— Господин, это его мусор, — не принял он. — Я у пеплогрива корыто на место ставлю? Ставлю. Ну и тут так же.

Она различала нас — и это было не по одежде и не по росту. Пим и Илмет одного роста и всю зиму ходили в одинаковых тулупах, и она их не путала ни разу: при Пиме сидела у прута, при Илмете отходила к дальней стене и смотрела оттуда.

Она ни разу не попробовала выйти. За полгода — ни разу: не пробовала прут, не рыла подстилку, не бросалась на дверь.

Она ела при Мавре, когда та замолкала, и не ела ни при ком другом.

А последнее я записал в отдельную строку и подчеркнул, потому что понял это позже всего.

Она никогда не была в клетке одна.

Гуш чистил, Мавра носила еду, Илмет сидел рядом с силком, я приходил вечерами и сидел на бревне.

Мы, все пятеро, не сговариваясь, устроили так, что у неё за полгода не было ни одного дня без человека.

Заметил это Кеша и заметил язвительно.

Реннел, вы её что, караулите?

— Ксаверий, мы её наблюдаем.

Вы её навещаете, — уточнил Ксаверий Аргентум Третий.

— Реннел, к неплогриву вы ходите дважды в день по делу. К ней вы ходите поодиночке и сидите.

Он помолчал.

И, Реннел, я тоже хожу. Через день, ночью, когда все спят. Я это говорю, чтоб ты не думал, что я один тут раззумный.

* * *

Шестая партия пришла в июне и состояла из двух голов.

Их привёз Марек Хольт лично, и привёз он их не по описи изъятых.

— Барон, это не изъятие.

— А что это тогда такое?

— Это передача, — доложил он. — От держателя Оль-

мерского перехода. Барон, он прочёл ваши записи.

Я, кажется, не сразу понял.

— Магистр Хольт, какие записи?

— Ваши наставления по приёму, — уточнил Марек. — Я их разослал по пяти переходам в марте. Барон, я вам не сказал, потому что не спросил вашего позволения, и это моя вина.

— И что он на это ответил?

— И он прислал вам двух, которых не смог выходить, — отозвался Марек Хольт. — С письмом.

* * *

Письмо было от руки, на одном листе, и подписано «Одвин Скарт, держатель четвёртого перехода».

Оно было коротким и очень неловким.

Человек писал, что держит переход одиннадцать лет, что зверя при нём проходит много, что он его никогда не считал своим делом и что за одиннадцать лет у него, по его прикидке, погибло голов двести.

Что он прочёл наставление и понял из него не приёмы, а то, что это вообще можно делать.

И что двух он выходить не сумел и потому шлёт их туда, где, может быть, сумеют.

В конце была приписка.

«Барон, я не прошу принять их даром. Я приложил четыре золотых, это всё, что у меня есть свободного. Если не возьмёте — верните зверей и деньги, я пойму».

* * *

Я взял.

И написал ему в тот же вечер, и письмо это писал три часа, потому что не знал, каким тоном.

Написал в итоге просто.

«Держателю Одвину Скарту.

Обоих принял. Состояние тяжёлое, но не безнадёжное.

Деньги возвращаю. Не потому, что обижен, а потому, что вы их отдали последними, а я — нет.

Записи буду присылать раз в месяц. Если захотите — приезжайте смотреть.

И вот что главное, и я прошу вас это прочесть дважды.

Вы одиннадцать лет теряли зверя не потому, что плохи. Вы теряли его потому, что вам никто не сказал, что это ваше дело.

Теперь сказали».

Он приехал через полгода.

Одвин Скарт оказался человеком лет шестидесяти, худым, молчаливым и до крайности неловким первые два дня.

Первые два дня он извинялся: за приезд, за отнятое время, за двести погибших голов, за присланные деньги и за то, что деньги вернули.

На третий его перестал слушать Гуш и увёл в шестой двор чистить кормушки.

Вернулись через четыре часа, и Скарт больше не извинялся.

— Барон, я у вас понял одну вещь.

— Какую же вещь поняли?

— У вас никто не спрашивает разрешения, — доложил он. — Ваш тролль дал мне скребок и показал, как держать. Ваш мальчик спросил, умею ли я считать, и посадил считать вылеты.

— И что в этом такого?

— У меня на переходе четверо, — уточнил Одвин Скарт.

— И они одиннадцать лет ждут, пока я велю.

Он уехал на девятый день с двумя тетрадами, которые Пим для него переписал.

А через год прислал первую собственную опись — на четырёх листах, с датами и с третьей графой.

В третьей графе стояли имена четверых его работников.

* * *

В июне Урочище перевалило за сорок голов, и вот тогда я впервые за пять лет нанял человека со стороны.

Не работника — двоих.

Брата и сестру из Овеськи, восемнадцати и двадцати лет, которые третий год ходили к нам подённо и которых Гуш второй год просил взять на постоянное.

Условия им ставил Пим, потому что я велел ему это сделать самому и потом два дня жалел, что не присутствовал.

Он сидел с ними в кухне полтора часа.

Восемь золотых в год с прибавкой через два, уборка, корма, вода и дрова, к неизвестным видам не подходить весь

первый год — всё это он проговорил за четверть часа и, судя по их лицам, проговорил внятно.

А остальной час он объяснял им третью графу.

Оба писали плохо. Ирма — коряво и медленно, брат её Гаст — печатными, как Бернат.

— Пим, а если я неправильно напишу?

— Тогда напишешь неправильно, — не принял он. — Ирма, тут главное, чтобы стояло, кто наблюдал.

— А если я не поняла, что видела?

Он подумал.

И вписал в договор строчку, о которой со мной не советовался.

«Если работник видит, что зверю плохо, он обязан сказать, даже если ему кажется, что он ошибается. За ошибку не взыскивается».

Я это прочёл и переспросил.

— Пим, ты откуда это взял?

— Ниоткуда, — доложил он. — Господин Тобиас, я подумал: у нас Гуш скажет, я скажу, Илмет скажет. А новые побоятся.

— А почему они побоятся?

— Потому что они подённые были, — уточнил он. — Подённого за глупый вопрос гонят.

Я оставил как есть.

И через четыре месяца та девушка, Ирма, подошла ко мне и сказала, что у прозрачноперой, по её мнению, что-то с ле-

вой ногой, и что она, наверное, ошибается.

Она не ошибалась.

* * *

А в июле мы наконец поняли одну вещь про двадцать вторую.

Точнее, понял Илмет.

Он сидел у сарая — не дежурил, просто сидел, потому что там было тенисто, — и чинил силок.

Через полчаса поднял голову.

И увидел, что двадцать вторая сидит у прута и смотрит на его руки.

Он проверил это на другой день, и на третий, и на пятый.

Работало всегда: стоило начать что-то делать руками — она подходила и смотрела.

Не на еду. Не на него.

На руки.

* * *

Прежде чем ставить опыт, мы полдня спорили, ставить ли его вообще.

Спор был серьёзный.

Илмет стоял за опыт и стоял просто: если не проверим — не узнаем, а не узнав, будем держать её в клетке дальше.

Илария была против, и довод у неё был врачебный и неприятный.

— Тобиас, вы собираетесь ставить опыт на существе, которое, возможно, понимает, что на нём ставят опыт.

— Илария, мы просто будем вязать узел.

— Вы будете вязать узел и смотреть, как оно отреагирует, — не приняла она. — Тобиас, если оно понимает — оно поймёт и это. И тогда вы ему покажете, что вы за ним наблюдаете как за зверем.

Мавра была против по другой причине и высказалась от печи, не оборачиваясь.

— Мальчик мой, вы у него спрашиваете, а сами не отвечаете.

— Мавра, мы не умеем с ним разговаривать.

— Так и он не умеет, — отрезала она. — А воду он тебе всё-таки подал.

* * *

Опыт мы ставили четыре вечера подряд, и я расписал его в книге на четыре страницы.

В первый вечер Илмет просто вязал узел на верёвке в четырёх шагах от прута.

Она подошла и смотрела семнадцать минут, не отрываясь и не меняя позы, и когда он закончил — отошла к дальней стене.

Во второй он вязал тот же узел за спиной, невидимо.

Она отошла через минуту.

В третий он взял ту же верёвку и стал просто перебирать её в руках, ничего не делая.

Она посмотрела минуты четыре и ушла.

А в четвёртый вечер он начал вязать и на середине бросил.

И вот тут случилось то, из-за чего я потом две ночи не спал.

Она подошла к пруту вплотную.

Просунула лапу.

И сделала пальцами движение, которым берут и тянут.

Один раз. Потом ещё раз, медленнее.

Илмет доделал узел.

Она посмотрела и отошла.

* * *

Я в тот вечер не пошёл в кабинет.

Я пошёл в сарай, сел на своё бревно и просидел там до темноты, и Илмет сидел рядом и тоже молчал.

Потом он спросил.

— Господин, а что мы теперь будем делать?

— Пока не знаю, Илмет.

— Господин, я вам скажу, а вы не сердитесь.

— Говори, я не рассержусь.

— Она нам показала, — доложил Илмет. — Не узел показала. Она показала, что она видела, как я делаю, и запомнила.

Он подобрал с земли щепку.

— Господин, у нас в степи так учат, — уточнил он. — Никто не объясняет. Показывают, а потом смотрят, повторишь ли.

— Илмет, ты хочешь сказать, что она у нас учится?

— Я хочу сказать, что она проверяет, — не принял он. —

Она узнала, что мы делаем руками. Теперь узнаёт, понимаем ли мы, что она узнала.

* * *

Ночью я написал письмо, которое потом не отправил.

Оно было адресовано в палату и начиналось словами «Держатель приёмного двора уведомляет, что в числе принятых животных находится особь, относительно которой имеются основания полагать».

Я дошёл до слова «полагать» и остановился.

И сидел над этим листом до трёх часов.

Потом взял другой лист и написал вопрос, который надо было написать первым.

«Что я сделаю, если это правда?»

Ответов вышло четыре, и все четыре были плохие.

Сообщить в палату — значит, приедет комиссия, и существо, которое разбирает солому на волокна и раскладывает рядами, повезут в столицу.

Не сообщать — значит, через год кто-нибудь узнает, и это будет укрывательство, и отвечать будет весь дом, а не я один.

Выпустить — а куда, я не знал. За камень не отправишь: неизвестно, за какой.

Четвёртый я записал последним и подчеркнул дважды.

«Спросить у него самого».

И приписал ниже, потому что был честен хотя бы с бумагой:

«Способа не имею. Ищу уже долгое время и пока не на-

шел"

Глава 5

Лето мы прожили на пятидесяти одной голове, и это была граница, за которой хозяйство перестало быть хозяйством и стало учреждением.

Я это понял по одному признаку.

Я перестал знать всех зверей в лицо.

Пять лет я мог, не заглядывая в книгу, сказать, кто где стоит, что ел вчера и как себя вёл. В июле я не смог назвать, сколько у нас восьмипалых, и назвал одиннадцать вместо двенадцати.

Проверил по журналу и сидел потом полчаса.

Реннел, это было неизбежно, — заметил Кеша.

— Ксаверий, я держатель.

Ты держатель пятидесяти одной головы, — не принял он. — *Реннел, человек помнит в лицо голов тридцать. Дальше начинается управление, и это другое ремесло.*

— И что мне делать?

То, что делают все, кто вырос, — отозвался Ксаверий Аргентум Третий. — *Перестань помнить и начни спрашивать тех, кто помнит.*

* * *

Перестраивались мы всё лето.

Первое, что сделали, — разделили дворы по людям, а не по видам, и делили мы их в кухне, за столом, и делили тя-

жело.

Гуш взял три двора со старыми зверями и взял молча, потому что это и так были его дворы шестой год.

Пим взял приёмный и карантинный.

Илмет — болотную кромку и прогалину.

А дальше начались споры, потому что четвёртый и пятый оставались бесхозными, а брать их было некому, кроме Ирма, которая работала третий месяц.

— Господин Тобиас, ей рано.

— Пим, а кому не рано?

— Мне, — доложил он. — Я возьму ещё два.

— И будешь ходить по пяти дворам, — не принял я. — Пим, у тебя приёмный, а в приёмном каждую неделю что-то новое.

Ирма всё это время сидела в углу и молчала.

— Ирма, вы что скажете?

Она поднялась, чего делать было не нужно, и от этого стало неловко всем.

— Господин барон, я умею мало.

— Это я про вас знаю.

— Но я умею спрашивать, — договорила она.

Я отдал ей четвёртый и пятый.

И через год она вела их лучше, чем я вёл шестой.

* * *

Второе, что мы завели, — утренний доклад.

Четверть часа на кухне до завтрака: каждый говорит по

своему двору три вещи — все ли живы, что изменилось, что нужно.

Первые две недели это выглядело смешно.

Гуш докладывал одиннадцатую словами и садился. Гаст краснел и молчал, и за него говорила сестра. Илмет говорил длинно и не по делу, потому что старался.

К августу доклад занимал одиннадцать минут и в нём вылезало то, чего я сам не заметил бы месяц.

* * *

Третье завели после того, как Гаст едва не промолчал про двух рассаженных.

Книгу тревог.

Отдельную, тонкую, и в неё писали только то, что кому-то показалось неправильным, — с одним правилом: пишем, даже если кажется, что ошибаешься.

За первое лето в ней набралось сорок восемь записей.

Тридцать оказались пустыми. Шестнадцать — мелкими.

Две спасли нам зверей.

* * *

Четвёртое придумала Илария и придумала не для зверей.

Она пришла ко мне в июле с расчётом на своём листе — она к тому времени переняла у меня эту манеру и пользовалась ею против меня же.

— Тобиас, посчитайте, сколько ваши люди работали за шесть лет без единого свободного дня.

— Илария, у нас звери каждый день едят.

— И у меня в лечебнице каждый день, — не приняла она.

— Тобиас, я вам говорю не про доброту.

— А про что вы говорите?

— Про то, что уставший человек не замечает, — уточнила она. — Вы шесть лет строите дом, который держится на том, что люди замечают. И шесть лет их не отпускаете в отпуск.

Выходной ввели с августа: один день в неделю каждому, по очереди, и в этот день человека не трогают ни по какому поводу.

* * *

Способ разговаривать с двадцать второй нашёлся в августе, и нашёл его не человек.

Нашёл Кеша.

Он пришёл ко мне ночью, разбудил и потребовал спуститься в кабинет, чего за пять лет не делал ни разу.

— Ксаверий, четвёртый час.

Реннел, я три недели думал и хочу сказать сейчас, пока не передумал.

Я спустился.

Он сидел на столе, поверх раскрытой племенной книги, и это тоже было не в его привычках.

Реннел, я собираюсь совершить глупость и хочу, чтобы ты знал о ней заранее.

— Какую именно глупость?

Я хочу к ней открыться, — отозвался Ксаверий Аргентум Третий.

* * *

Я сел.

— Ксаверий, ты дракон. Ты не открываешься, ты говоришь.

Я говорю с тем, кто меня слышит, — не принял он. — Реннел, я всю жизнь считал, что это одно и то же. А это не одно и то же, и я это понял, глядя на тебя пять лет.

— Поясни свою мысль.

Ты открываешься и слушаешь, — уточнил дракон. — Я говорю и жду ответа. Разница в том, кто начинает.

Он помолчал.

Я за сто восемьдесят семь лет ни разу не начинал с того, чтобы слушать.

* * *

Мы спорили до рассвета и переспорить я его не сумел.

Мой довод был простой: мы не знаем, что она такое, и открываться к неизвестному — это то, за что я сам полгода назад записал в свод «не буду».

Его довод был хуже.

Реннел, ты записал «не буду» про себя. Про меня ты ничего не записывал.

— Ксаверий, это увёртка.

Это увёртка, — согласился он. — И вот тебе не увёртка. Реннел, я вешу двенадцать фунтов и живу сто восемьдесят семь лет. Если со мной что-то случится, дом потеряет переводчика и счетовода.

Он посмотрел на меня.

А если случится с тобой, дом потеряет всё.

* * *

Мавра узнала первой, потому что подавала завтрак и слышала весь спор с середины.

Высказалась она, когда я уже думал, что обошлось.

— Ящерица, а ты подумал, что с тобой будет?

- Сударыня, я подумал.

— Не подумал, — не приняла она. — Ты подумал, что будет с домом. Это разное.

Кеша молчал.

— Я кучу лет знаю, — продолжила Мавра, не оборачиваясь от печи. — Ты за это время три раза так решал. Первый раз отдал золото тропе. Второй раз вписался в опись жильцом. Третий сейчас.

— Мавра, ты про это никогда не говорила.

— А чего говорить, — отрезала она. — Мальчик мой, он каждый раз решал за всех и никого не спрашивал. И каждый раз был прав.

Она обернулась.

— Только вот что, ящерица. Ты в прошлые два раза платил собой и никто не видел. А сейчас мы смотреть будем.

- И что это меняет, сударыня?

— Это меняет то, что теперь есть кому тебя остановить, — отозвалась Мавра. — Раньше не было.

* * *

Илария, узнав утром, отреагировала не как я ждал.

Она не стала спорить.

Она села, положила перед собой лист и стала задавать вопросы, и записывала ответы сама.

Вопросов вышло одиннадцать.

Сколько времени — не больше минуты, и первый раз двадцать секунд.

Кто рядом — я, она и Гуш, и не больше троих.

Что делаем, если ему станет плохо, — уносим и не пытаемся привести в чувство ничем, потому что не знаем, чем приводят в чувство дракона.

Кто считает время — Пим, с песочными часами, снаружи, и это она поставила отдельно, потому что человек, который смотрит, времени не считает.

А на девятом он единственный раз замялся.

— Ксаверий, что делаем, если вы не сможете прекратить сами?

- Илария, такого не бывает.

— Ксаверий, вы за сто восемьдесят семь лет ни разу этого не делали, — не приняла она. — Откуда вы знаете, чего не бывает?

Он молчал секунды три.

- Не знаю, — признал Ксаверий Аргентум Третий.

* * *

Она записала «не знает» и подчеркнула.

— Тогда так, — распорядилась Илария. — Ксаверий, вы

садитесь мне на левую руку. Не на плечо, не на стол — на руку, и держитесь когтями.

А это зачем?

— Затем, что если вы перестанете держаться, я это почувствую раньше, чем увижу, — уточнила она.

Он сел ей на руку.

И держался все двадцать секунд.

* * *

Первое открытие было двадцать девятого августа, в шесть вечера, при трёх свидетелях и одном счётчике времени.

Кеша сидел на руке Иларии в двух шагах от прута.

Двадцать вторая подошла сама, без всякого приглашения, и села с той стороны напротив.

Пим перевернул часы.

Двадцать секунд.

Кеша не двигался и, кажется, не дышал.

На восемнадцатой секунде он выпустил руку Иларии — не от слабости, а разжав когти, — и она сняла его сразу, как договорились.

Мы отнесли его в дом.

* * *

Он молчал два часа.

Потом заговорил, и заговорил не то, чего мы ждали.

Реннел, я слышал не её.

— Ксаверий, как это?

Я слышал через неё, — уточнил он. — Реннел, это не то,

что слышишь ты, когда открываешься к зверю. Ты слышишь состояние. Я слышал направление.

— Что значит направление?

То, что она куда-то обращена, — отозвался Ксаверий Аргентум Третий. — Реннел, представь человека, который стоит и слушает что-то далёкое. Ты подходишь и слушаешь его. И слышишь не его, а то, что он слушает.

Он помолчал.

Только я не разобрал, что там. Слишком далеко и слишком тихо.

* * *

Второй раз был через четыре дня, и на этот раз тридцать секунд.

Кеша после него молчал четыре часа, и Илария велела прекратить, и он согласился без спора, чего я не ожидал.

Но за эти тридцать секунд он вынес три вещи, и вынес их не сразу, а вытягивал я их из него полвечера.

Направление оказалось то же самое, что и в первый раз, — он это подтвердил дважды и оба раза без наводки.

Шло оно не в сторону, а вниз и в сторону разом, и вот это он объяснял мне четверть часа и объяснил в итоге через воду: не как смотрят вдаль, а как смотрят в колодец, стоя не над ним, а рядом.

А третье он сказал, уже когда я собрался уходить.

Реннел, она это делает постоянно.

— В каком смысле постоянно?

В том смысле, что она слушает не когда я к ней открываюсь, — уточнил дракон. — Она слушает всегда. Реннел, она полгода сидит у тебя в сарае и слушает что-то, чего мы не слышим.

** * **

Между вторым открытием и третьей проверкой прошло три недели, и в эти три недели мы занимались тем, что перепроверяли самих себя.

Причина была та, что мне не нравилось слово «направление».

Дракон сказал «вниз и в сторону». Это могло значить что угодно, включая то, что ему показалось.

Поэтому мы проверяли трижды и каждый раз иначе.

Сперва спросили Кешу с промежутком в неделю, не давая ему свериться с прошлым ответом, — и оба раза он показал одно и то же с точностью до пары градусов.

Потом стали проверять, не подсказываем ли мы ему сами. Придумал Илмет.

Реннел, я дракон, не забывай этого.

— Ксаверий, ты сам сказал, что не хочешь подставлять ответ.

Он согласился.

Его развернули четырежды, и все четыре раза он показал в одну сторону.

А в третий раз проверяли, слышит ли направление кто-нибудь, кроме дракона.

Я открылся к ней на десять секунд, под часами, при Иларии.

Не услышал ничего, кроме того самого спокойного и ровного фона, что слышал в декабре.

Никакого направления.

Реннел, это, между прочим, важнее всего остального, — заметил Кеша потом.

— Почему это важнее?

Потому что ты слышишь состояние, а я слышу общённость, — уточнил Ксаверий Аргентум Третий. — *Реннел, мы с тобой пять лет думали, что делаем одно и то же разными словами. А делаем разное.*

* * *

Направление проверили простым способом, и способ придумал Бернат.

Он взял верёвку с грузом и пошёл в сарай.

— Барон, я вам сейчас скажу, куда она смотрит.

— Бернат, она никуда не смотрит. Она слушает.

— Так и слушает она куда-то, — не принял он. — Барон, вы мне скажите, откуда ваш дракон почуял, а я вам линию дам.

Кеша показал.

Бернат повесил линию от клетки, промерил и через час вернулся с ответом.

— Барон, она слушает подвал.

— Какой именно подвал?

— Ваш, под зимовником, — доложил он. — Барон, я по линии прошёл. Двести шестьдесят два шага, и упирается ровно в него.

* * *

Старший камень.

Я сидел с этим полдня и потом позвал всех.

Пересчитали трижды.

Клетка стоит в каретном сарае, в северном отсеке. Линия от неё идёт на юго-запад под уклон и упирается в подвал зимовника — не в стену, а в плиту.

Двести шестьдесят два шага.

— Ксаверий, она слышит старший камень.

Она слышит что-то в том направлении, — не согласился он. — Реннел, не подставляй ответ. Может, она слышит камень. Может — то, что за ним. Может — то, что под ним.

— И как нам это различить?

Никак, — отозвался Ксаверий Аргентум Третий. — Пока никак.

* * *

Прежде чем переносить клетку, я спросил разрешения.

Не у службы — у неё.

Спросил способом, который придумал не я, а Мавра, и который выглядел глупо ровно до того момента, пока не сработал.

Она предложила показать.

— Мальчик мой, ты ей покажи, куда собрался нести.

— Мавра, как я ей покажу?

— А ты нарисуй, — распорядилась она.

Рисовал Пим — он рисовал лучше всех в доме.

Нарисовал сарай, клетку в нём, потом прогалину, кольцо камней и клетку уже там.

Два рисунка, рядом, на одном листе.

Мы поднесли лист к пруту и держали.

Она смотрела на него минут пять.

Потом просунула лапу и дотронулась до второго рисунка.

* * *

Я эту сцену записал в книгу дважды: сразу и через три дня, на трезвую голову, и во второй раз приписал всё, что можно было возразить.

Возразить можно было многое.

Что она дотронулась до крайнего, а не до нужного.

Что она вообще трогает всё, что попадает в клетку.

Что мы держали лист так, что второй рисунок был ближе.

Всё это я записал.

И записал, что мы повторили опыт на другой день, помняв рисунки местами.

Она дотронулась до того же самого — теперь уже дальнего.

* * *

Про то, что было дальше, я расскажу по порядку, потому что дальше было наше единственное настоящее решение за

тот год.

Мы перенесли её клетку.

Не в подвал — на прогалину, к кольцу, за двести шагов от восьмого камня, в сарай, который Бернат поставил за девять дней.

Сделали мы это по одной причине: если она слушает старший камень с расстояния в двести шестьдесят шагов, то надо понять, слышит ли она восьмой с двухсот.

Наблюдали месяц.

Не слышала.

Направление осталось прежним — на юго-запад, на подвал, теперь уже с другой точки и под другим углом.

То есть она слушала не сторону света и не то, что ближе.

Она слушала конкретное место.

* * *

В сентябре в Урочище случилось то, что я четыре года считал невозможным.

Гортензия разделилась.

Обнаружил это Илмет на утреннем обходе библиотеки — она к тому времени висела там же, между шкафом и окном, и её осматривали раз в неделю по остаточному принципу.

Он прибежал в кухню и первую фразу выговорил не по-нашему.

Потом справился.

— Господин, их две.

— Илмет, их не может быть две.

— Их две, — не принял он. — Господин, идёмте, я вам покажу. Одна на прежнем месте, вторая на две ладони ниже. Мы смотрели на них вчетвером минут двадцать. Вторая была вдвое меньше и совершенно такая же.

* * *

Что мы сделали не так за четыре года, выяснилось за неделю и выяснилось унижительно.

Мы её не кормили.

То есть кормили — раз в две недели, тем же, чем при деде, потому что так было записано в старой описи и никто не проверял.

А в июле Ирма, взявшая четвёртый и пятый дворы, спросила у Пима, почему улитку кормят реже всех.

Пим не знал.

И, не зная, сделал то, чему я его пять лет учил: не стал придумывать, а стал пробовать.

С июля он кормил её еженедельно и записывал.

К сентябрю она разделилась.

— Пим, ты почему мне не сказал, что изменил кормление?

— Сказал, — доложил он. — Господин Тобиас, я на утреннем докладе сказал двадцать девятого июля.

Я поднял книгу докладов.

Он сказал.

Я не услышал.

* * *

Записал я это в свод отдельно и записал жёстко, потому что иначе смысла не было.

«Гортензия разделилась после четырёх лет неподвижности. Причина — увеличение кормления вдвое, введённое наблюдателем самостоятельно и доложенное на утреннем докладе.

Держатель доклад слышал и не отметил.

Вывод для держателя: доклад, который не записывается, не считается сделанным. Ввести письменную форму утреннего доклада с подписью принявшего».

Форму ввели с октября.

И за следующие полгода она поймала ещё две вещи, которые я пропустил бы мимо ушей.

* * *

В октябре я сделал то, за что Илария со мной не разговаривала два дня.

Я отнёс её в подвал.

Не саму — клетку, вместе с ней, на носилках, вчетвером, и поставил в трёх шагах от плиты старшего камня.

Она встала.

Первый раз за одиннадцать месяцев поднялась на задние лапы и стояла так, держась за прут, всё время, пока мы были внизу.

Мы простояли двадцать минут.

Потом унесли.

* * *

Илария нашла меня вечером в кабинете.

— Тобиас, вы понимаете, что вы сделали?

— Прекрасно понимаю.

— Ничего вы не понимаете, — не приняла она. — Тобиас, вы четыре года пишете в свод «не проверять на себе». А сегодня вы проверили на ней.

Я молчал.

— Она у вас в клетке, — продолжила Илария. — Она не может уйти, отказаться и сказать «нет». И вы отнесли её туда, куда ей, может быть, нельзя.

— Илария, она встала.

— И что с того? — не приняла она. — Тобиас, человек, которого подвели к краю обрыва, тоже встанет.

Она положила ладони на стол.

— Я вам скажу одно и уйду. Вы сегодня поступили с ней по-скотски. Так не делают!

* * *

Два дня я не знал, что с этим делать.

На третий пошёл в сарай и сделал единственное, что придумал.

Сел на бревно и рассказал ей.

Вслух, по-нашему, зная, что она не понимает слов, — рассказал, что мы её носили в подвал, зачем носили, что увидели и что я об этом думаю.

Говорил минут двадцать.

Она слушала — то есть сидела у прута и не отходила, и

глядела не на меня, а куда-то мимо, как глядела всегда, когда при ней говорила Мавра.

А когда я замолчал, она повернула голову.

И сделала лапой то самое движение, которым тянут.

Один раз.

* * *

Я вернулся в дом и записал в книгу три строки, и три эти строки я потом показывал Иларии.

«Рассказал ей о том, что мы сделали. Не потому, что она поймёт, а потому, что не рассказать было нельзя.

По окончании она сделала движение, которое мы наблюдали в июле при опыте с узлом.

Толкование не предлагаю».

Илария прочла и вернула книгу, и мы после этого разговаривали, как раньше.

А через неделю она сама пришла к сараю и просидела там час.

О чём она с ней говорила, я не спрашивал.

Знаю только, что после этого она стала ходить туда раз в неделю и ходила два года.

* * *

Наблюдение за ней к ноябрю выросло в отдельную книгу на двести с лишним страниц, и вёл её уже не я.

Вёл Илмет.

Я передал ему это в сентябре и передал по трём причинам, из которых вслух назвал две.

Первая. Он единственный, кто наблюдал её с первого дня и ни разу не пропустил.

Вторая. У него получалось лучше: он записывал то, что видел, не пытаясь объяснить, а я всё время объяснял.

Третью я ему не сказал и говорю здесь.

Я начал бояться.

Не её — того, что я к ней привыкну и перестану замечать.

За одиннадцать месяцев я привык к тому, что в моём сарае сидит существо, которое подаёт мне воду, слушает подвал за двести шагов и различает шестерых людей в одинаковых тулупах.

Привык настолько, что в октябре поймал себя на мысли «а, ну это же наша».

Вот после этой мысли я и передал книгу.

* * *

Илмет вёл её иначе, чем я.

Он завёл в ней четыре графы вместо трёх.

В первую шло обычное — то, что она делала всякий день.

Во вторую, и это была его находка, — то, что она делала впервые. За три месяца там набралось девятнадцать строк.

В третью — то, чего она не делала, и вот этой графы я сперва не понял.

Он объяснил.

— Господин, если я пишу только то, что было, я через год не вспомню, чего не было.

— Илмет, а зачем помнить, чего не было?

— Затем, что она полгода не пробовала выйти, — уточнил он. — А если однажды попробует, я хочу знать, что это первый раз за полтора года. А не думать, что она всегда пробовала.

Четвёртую он назвал «моё мнение» и писал в неё то, чего в книге быть не должно.

Про эту графу мы с ним спорили.

— Илмет, наблюдатель не пишет мнений.

— Наблюдатель не пишет мнений в первых трёх графах, — не принял он. — Господин, а мнение у меня всё равно есть. Я его лучше отдельно запишу, чем оно мне в первые три полезет.

Я подумал и согласился.

И через год именно четвёртая графа оказалась самой полезной, потому что по ней было видно, где он ошибался, а где нет.

* * *

В ноябре пришло письмо от Гретхен Веккель.

Оно было на четырёх строках.

«Господин барон.

Отец умер восьмого ноября, в шестом часу утра.

Он последнюю неделю был в памяти и просил вас передать три слова, и я передаю их, как передала прошлые.

Он сказал: спросите у Крича про шестьсот двенадцатый».

* * *

К Кричу я приехал через два дня.

Он выслушал, снял очки и очень долго молчал.

— Барон, магистр Веккель знал, что я служу в палате двадцать шесть лет.

— Разумеется, знал.

— И знал, что я был при описях имущества с шестьсот десятого, — уточнил Крич. — Барон, он не просто так назвал год.

— Магистр Крич, что было в шестьсот двенадцатом?

Он надел очки обратно.

— В шестьсот двенадцатом году, — доложил магистр Виллем Крич. — Палата приняла в казну имущество лица, умершего без наследников.

— И чьё же имущество?

— Реннельского перекрёстка, — отозвался он. — Барон, в шестьсот двенадцатом умерла ваша прапрабабка, и поместье три месяца стояло выморочным, пока не нашёлся ваш прадед.

Он посмотрел на меня.

— И все три месяца оно принадлежало короне.

* * *

Мы разбирали это до вечера, и Крич поднял для меня три дела, которых я бы сам не нашёл никогда.

Первым была опись выморочного имущества за шестьсот двенадцатый год, на четырнадцати листах.

В ней стояло всё: земля, строения, скот, утварь, книги, включая ту самую бутылку вина, которую мы нашли в стене

малой гостиной.

И не стояло ничего про перекрёсток.

— Магистр Крич, как это возможно?

— Возможно, потому что перекрёсток не имущество, — уточнил он. — Барон, камни в описи не значатся, потому что их нельзя ни продать, ни оценить.

Вторым было заявление моего прадеда о вступлении в наследство, поданное через три месяца.

— Магистр Крич, а почему через три?

— Потому что он о нём не знал, — доложил Крич. — Барон, ваш прадед служил тогда в Кальтене и о смерти бабки узнал на девятой неделе.

Третье он положил передо мной последним и молчал, пока я читал.

Это было ходатайство.

Поданное в те самые три месяца, когда поместье принадлежало короне.

О передаче Реннельского Урочища в казённое ведение с сохранением заповедного режима.

С обоснованием на две страницы.

И подписью, которой я не знал: «Э. Веккель, смотритель второго разряда».

* * *

Я держал этот лист и считал.

Шестьсот двенадцатый.

Эрих Веккель, отец, умер в пятьсот девяносто шестом —

за шестнадцать лет до этого.

— Магистр Крич, тут ошибка в имени.

— Нет ошибки, — не принял он.

— Магистр Крич, Эрих Веккель умер в девяносто шестом.

Я это читал в описи имущества.

Крич снял очки.

— Барон, а как звали покойного магистра Веккеля?

Я открыл рот.

И понял, что за шесть лет ни разу не видел его имени целиком.

Только «Э. Веккель».

На всех бумагах, во всех письмах, включая те, что он писал мне домой.

— Магистр Крич, а вы знаете?

— Знаю, — доложил магистр Виллем Крич. — Его звали Эрих. Как отца.

Глава 6

Эриха Веккеля-старшего я искал всю зиму и нашёл в марте, в бумагах, которые двадцать лет никто не открывал.

Начал я, впрочем, не с бумаг.

Начал я с того, что поехал к Гретхен.

Она жила в том же доме на окраине Вельны и жила там одна, потому что съёмную комнату не сдала, а платить за неё было нечем.

Я это понял с порога и с порога же полез не в своё дело.

— Гретхен, вы тут одна?

— Одна, — подтвердила она.

— И на что живёте?

Она посмотрела на меня.

— Господин барон, вы приехали про отца спрашивать.

— Приехал про него спрашивать.

— Так и спрашивайте про отца, — не приняла она.

Я спросил про отца.

А через час, уходя, всё-таки вернулся к первому вопросу, и вернулся с другого конца.

— Гретхен, у меня в Урочище лечебница и приёмный двор. Мне нужен человек, который умеет писать и считать.

— Я умею и то и другое.

— Знаю, — отозвался я. — Я ваше письмо читал.

Она молчала.

— Восемь золотых в год, стол и угол, — доложил я. — Работа скучная: переписывать и сверять. Первый год к зверю не подойдёте.

— Господин барон, я за отцом три года ходила.

— Это не то же самое.

— Это хуже, — не приняла Гретхен Веккель. — Господин барон, я согласна.

* * *

Про то, зачем я это сделал, я себя спрашивал всю дорогу домой и честного ответа не нашёл.

Работник мне был нужен — это правда: Пим с Илмётом не успевали, а Гретхен писала лучше их обоих.

И правда была в том, что я взял её не за это.

Кеша, выслушав, сформулировал за меня.

Реннел, ты взял дочь человека, который шесть лет тебе помогал и умер, ничего не объяснив.

— Ксаверий, я взял писца.

Ты взял последнее, что от него осталось, — не принял Ксаверий Аргентум Третий. — И, Реннел, я тебя за это не корю. Я просто хочу, чтобы ты это назвал своим именем, пока ты не начал считать себя добрым.

— И чем это плохо?

Тем, что добрый человек не замечает, когда становится обязанным, — уточнил дракон.

* * *

Она приехала через две недели с одним сундуком и кор-

зиной.

В корзине была кошка, и это была первая кошка в Урочище за шесть лет, и Гуш посмотрел на неё так, что я вмешался.

— Гуш, кошка останется.

— Господин, у нас птицы.

— Кошка останется в доме, — уточнил я. — Во дворы не пойдёт.

Он подумал.

— Тогда пусть в доме мышей ловит, — согласился Гуш.

— А то тихокрылы всех съели, а в доме остались.

Кошку звали Ньюшка, прожила она у нас одиннадцать лет и в последние годы спала на печи вместе с Кешей, который первые полгода делал вид, что её не существует.

* * *

С Маврой они сошлись на третий день, и сошлись способом, которого я не понял.

Гретхен пришла на кухню в первое утро, встала у двери и спросила, чем помочь.

— Ничем, — не приняла Мавра.

— Я умею готовить.

— Тут кухарка есть.

Гретхен постояла и ушла.

На второе утро повторилось то же самое.

На третье она пришла и ничего не спросила: села на лавку у стены и стала чинить рукав, который у неё был порван третий день.

Мавра посмотрела на неё, потом на рукав.

— Иглу-то не ту взяла.

— Другой иглы нет.

— Есть, — отрезала Мавра и принесла коробку.

Через час они разговаривали.

Я это застал случайно, зайдя за кружкой, и постоял в сенях, потому что услышал не то, что ждал.

— ...и три года так, — говорила Гретхен. — Он меня то узнаёт, то нет.

— А ты плакала при нём?

— Ни разу при нём.

— Плохо, — определила Мавра. — Надо было плакать.

Он бы тебя пожалел и порадовался, что есть кому плакать.

Я ушёл, не взяв кружку.

* * *

С сундуком было сложнее.

В нём лежали бумаги её отца — те самые, которые он разбирал двадцать пять лет назад и после которых поехал в Верхний Вельн.

Она их привезла, не спрашивая, нужны ли.

— Гретхен, вы понимаете, что это может быть служебное?

— Понимаю, — подтвердила она. — Господин барон, отец их держал дома двадцать пять лет и в службу не отдавал.

— И вы не боитесь?

— Боюсь, — не приняла она. — Только они у меня в комнате лежали, за которую нечем платить. Я их либо вам везу,

либо оставляю там, где их найдёт хозяин дома.

Я взял.

И написал в тот же день Кричу, что бумаги покойного магистра Веккеля находятся у меня, доставлены его дочерью, и что я прошу разъяснить, обязан ли я их сдать.

Ответ пришёл через одиннадцать дней и был на трёх строках.

«Барон.

Личные бумаги умершего служащего переходят наследникам. Наследница вправе распорядиться ими как угодно.

Читайте.

В. Крич».

* * *

В феврале, посреди разбора, пришла зимняя партия, и пришла она не по уведомлению.

Её привёз человек на своей телеге, без бумаг, ночью, и постучал в ворота так, что Шайба подняла весь дом.

Он был пьян.

— Барон, я вам зверя привёз.

— Какого такого зверя?

— А чёрт его знает, — доложил он. — Барон, я его в Кальтене купил за два золотых, а он не ест.

— А покупали вы зачем?

— Показывать, — не принял он. — Барон, у меня балаган. Был.

Я велел завести телегу во двор и разбудил Иларию.

* * *

В ящике сидело животное, которое я потом описал как «крупный грызун, четыре ноги, хвост голый, шерсть жёсткая, вес около пуда».

Оно не ело девять дней.

Илария осмотрела и вынесла приговор в две фразы.

— Тобиас, он не отказывается. Он не может.

— Чего именно не может?

— Жевать, — уточнила она. — Тобиас, посмотрите на резцы.

Я посмотрел.

Резцы у него были в палец длиной и загнуты так, что смыкались не друг о друга, а мимо, и один упирался в нёбо.

— Илария, это болезнь?

— Это не болезнь, — не приняла она. — Тобиас, у грызуна зуб растёт всю жизнь и стачивается о твёрдое. Если ему не дать твёрдого, он вырастает вот в это.

Она отошла от ящика.

— Его кормили мягким. Год или два.

* * *

Зубы ему подпиливали втроём, и держал Гуш.

Работа была на полчаса и вышла на два с половиной, потому что зверь не понимал, что происходит, а объяснить ему было нечем.

Илария пилила. Я держал голову. Пим подавал.

На середине она остановилась и села на пол.

— Тобиас, я так больше не могу.

— Илария, осталось немного.

— Я знаю, сколько осталось, — не приняла она. — Тобиас, я двенадцать лет пилю зубы коровам. У коровы зуб пилят стоя, за минуту, и корова терпит.

Она вытерла лоб.

— А тут я держу в руках существо, которое два года не могло есть, и оно на меня смотрит.

Мы закончили через час.

Он поел в ту же ночь.

И потом ел четыре года, и раз в полгода мы подпиливали снова, потому что стачивать ему было не обо что: того твёрдого, что грызут у него дома, у нас не росло.

* * *

Балаганщика я отпустил утром, и отпустил не сразу.

Сперва задал ему один вопрос.

— Скажите, а вы его чем кормили?

— Хлебом, — доложил он. — Барон, я ж не знал.

— А кто у вас его до этого держал?

— Купец один, в Кальтене.

— А до купца у кого был?

Он подумал.

— Барон, вы меня простите, — выговорил он. — Я его третьим держал. У купца он два года был, а до купца я не знаю.

Я записал в книгу приёма: «Поступил от балаганщика без

уведомления и бумаг. До того находился у купца в Кальтене два года. Кормлен хлебом. Резцы отросли до неспособности жевать».

И приписал ниже, потому что за шесть лет выучился приписывать:

«Не первый владелец и не второй. Прежних не установить».

* * *

Разбирали бумаги Веккеля вчетвером: я, Гретхен, Илмет и Пим.

Гретхен разбирала по почерку — она отцовскую руку знала, а дедовскую нет и потому раскладывала на две стопки вслепую, и делала это быстрее всех нас.

Илмет считал листы и нумеровал.

Пим переписывал то, что расползлось.

Я читал.

Всего вышло четыреста с чем-то листов, и на четвёртый день Гретхен положила передо мной одну стопку отдельно.

— Господин барон, тут третья рука.

Я посмотрел.

Она была права: почерк был не отцовский и не дедовский. Женский.

* * *

Стопка была небольшая, листов на сорок, и это оказались письма.

Все — от одного человека, все — Эриху Веккелю-старше-

му, и все за один год: шестьсот одиннадцатый.

Подпись стояла в конце каждого.

«Ваша А. О.»

— Гретхен, вы знаете, кто это?

— Не знаю, — доложила она. — Господин барон, отец про деда почти не говорил. Я знаю, что он умер, когда отцу было двадцать шесть.

— А про женщин в его жизни?

— Бабка умерла родами, — уточнила Гретхен. — Дед больше не женился.

Илмет, сидевший рядом, поднял голову.

— Господин, а можно я скажу?

— Говори, что придумал.

— «А. О.» — это как «Аннека Овеск», — доложил он.

* * *

Мы проверяли эту догадку месяц и она оказалась не верной.

Аннека Овеск умерла в пятьсот девяносто первом, за двадцать лет до этих писем.

Илмет, узнав, огорчился так, что я его два дня утешал, а на третий он пришёл ко мне сам и сказал вещь, до которой я не додумался.

— Господин, а у Аннеки дочери были?

Я поднял церковные книги, которые он же три года назад и переписывал.

Были.

Две.

Старшая — Анна, родилась в пятьсот сорок втором.

* * *

Дальше нужно было обратиться к арифметике и считали мы это вечер.

Анна Овеск, дочь Аннеки, родилась в пятьсот сорок втором.

Письма писаны в шестьсот одиннадцатом.

Значит, ей было шестьдесят девять.

— Илмет, не сходится.

— А почему не сходится?

— Потому что это письма не старухи, — уточнил я.

Я прочёл ему вслух три места, и он согласился.

Так пишет женщина лет тридцати: быстро, без оглядки, с исправлениями и с той свободой, которая к семидесяти либо уходит, либо становится другой.

— Господин, а у Анны дочери были?

— Илмет, мы так до скончания века будем спускаться.

— А как ещё-то? — не принял он.

* * *

У Анны дочери были, и одну тоже звали Анна, и родилась она в пятьсот восемьдесят третьем.

В шестьсот одиннадцатом ей было двадцать восемь.

Проверили по церковной книге Кальцов: Анна Овеск, дочь Анны, венчана в шестьсот тринадцатом за кузнеца, умерла в шестьсот сорок четвёртом.

То есть за пять лет до моего появления в этом мире.

— Господин, а дети у неё были?

— Илмет, погоди с детьми, — не принял я. — Сперва прочтём письма.

* * *

Письма мы читали три вечера, и это были самые странные три вечера за шесть лет.

Женщина двадцати восьми лет писала смотрителю Королевской порталной службы, которому было под шестьдесят.

Писала о деле.

Не о своём — о его: о камнях, о промерах, о том, что он ей рассказывал в прошлый приезд, и о том, что она думает по этому поводу.

И думала она такое, чего я не встречал ни в одной бумаге за шесть лет.

«Вы пишете, что камень мёртв и что мёртвое не оживает.

А я вам отвечу, что в нашем деле мёртвого не бывает, бывает только неухоженное. У нас корова стоит непоеная три дня и падает, и всякий скажет, что она больна. А она не больна, а не поена.

Вы двадцать лет ходите по камням, которых никто не поит, и удивляетесь, что они холодные».

* * *

Я прочёл это вслух дважды и после второго раза посидел молча.

— Илмет, а ты что скажешь?

— Скажу, что она права, — доложил он.

— Илмет, она это написала за двадцать восемь лет до того, как я сюда попал.

— Ну и что? — не принял он. — Господин, вы то же самое сделали в позапрошлом году с восьмым камнем.

И он был прав.

Я это сделал в шестьсот сорок первом, потратив на выяснение полтора года и одну экспедицию через степь.

Она это написала в шестьсот одиннадцатом, между делом, в письме, объясняя через непоеную корову.

* * *

Второе письмо было хуже.

В нём она отвечала, судя по всему, на его вопрос, и вопрос был про старший камень.

«Вы спрашиваете, отчего у нас в семье не велят его трогать.

Оттого, что моя прабабка ходила за него и вернулась, и с тех пор в нашем роду говорят: за него ходят один раз.

Что она там видела, я не знаю и врать не стану. Знаю только присловье, которое у нас говорят детям, и я его вам напишу, хотя вы будете смеяться.

Кто сходил — того считают“.

Что это значит, у нас не объясняют. Говорят, что раньше знали».

* * *

Мы просидели над этой строчкой до третьего часа.

— Ксаверий, ты это слышишь?

Слышу шестой год, — отозвался Ксаверий Аргентум Третий.

— Ксаверий, я серьёзно.

И я серьёзно, — не принял он. — *Реннел, твой прапрадед записал в подвале, что его спросили «сколько вас». Присловье говорит «кто сходил — того считают». Это одно и то же, сказанное дважды, с промежутком в сто восемьдесят лет.*

— И что оно означает?

Что там ведут счёт, — отозвался дракон. — *И что в этот счёт попадают те, кто прошёл.*

* * *

Третье письмо было последним по времени и коротким.

Оно было писано в декабре шестьсот одиннадцатого, за два месяца до смерти моей прапрабабки и за три — до того, как поместье отошло короне.

«Приезжайте, как сможете.

У Реннелов плохо: старуха слегла, а наследник в Кальтене и, говорят, не знает. Я к ней хожу через день, ношу молоко.

Она в памяти и всё спрашивает про подвал: заперт ли, цел ли, не лазил ли кто.

Я ей отвечаю, что заперт, и она успокаивается на день.

Приезжайте. Мне не с кем про это говорить, а вы один, кто не будет смеяться».

* * *

Я держал этот лист и очень медленно понимал три вещи разом.

Первая: моя прапрабабка Иоганна умирала не одна.

Вторая: женщина, которая к ней ходила через день и носила молоко, была правнучкой той самой Марты Овеск, что двести лет назад унесла из этого дома ребёнка.

И третья.

— Ксаверий, письма кончились.

Верно, — подтвердил он.

— Ксаверий, последнее декабрьское. А в марте он подал ходатайство.

И это тоже верно, — согласился Ксаверий Аргентум Третий. — *Реннел, ты сейчас спросишь, о чём я думаю, и я тебе отвечу заранее.*

— Отвечай, я слушаю.

Он подал ходатайство о передаче Урочища короне через два месяца после того, как женщина написала ему, что старуха умирает и наследник не знает, — отозвался дракон. — И, Реннел, он подал его не чтобы отобрать.

— А для чего тогда?

Чтобы удержать, — уточнил Ксаверий Аргентум Третий. — *Он боялся, что дом уйдёт с молотка раньше, чем найдётся наследник.*

* * *

Ходатайство, как мы уже знали, отклонили.

Прадед нашёлся на девятой неделе, вступил в наследство,

и дом остался за Реннелами.

А через год кто-то начал платить двести золотых в год за то, чтобы никто не купил эту землю.

Я сложил эти два обстоятельства и сложил их вслух, при всех, в кухне, потому что мы третий год не делали иначе.

— Ксаверий, а не он ли и платил?

Он умер в пятьсот девяносто шестом, — не принял дракон. — За шестнадцать лет до.

— Ксаверий, я про сына.

В кухне стало тихо.

— Тобиасу-то нашему тогда сколько было? — уточнила Мавра.

Я посчитал.

Эриху Веккелю-младшему в шестьсот двенадцатом было двадцать два года.

— Мальчик мой, а двадцатидвухлетний где двести золотых в год возмёт?

— Мавра, негде ему взять.

— Ну вот и я о том же, — ответила она и отвернулась к печи.

* * *

Двадцать вторая всё это время сидела на прогалине и слушала подвал.

Илмет вёл её книгу шестой месяц и в марте принёс мне из неё одну страницу отдельно.

— Господин, у меня во второй графе третий месяц пусто.

— И что это значит?

— А то, что до этого там было по шесть-семь строк в месяц, — доложил он. — Господин, она перестала делать что-то новое.

Я поднял книгу и проверил.

Он был прав: с декабря она не сделала ни одной вещи, которой не делала бы раньше.

— Илмет, а в третьей графе?

— В третьей растёт, — уточнил он. — Господин, она перестала делать и то, что делала.

Он перевернул лист.

Ряды из соломы — последний раз в январе.

Разбирание тряпки на нитки — последний раз в феврале.

Движение лапой, которым тянут, — с ноября ни разу.

* * *

Илария осмотрела её на другой день и не нашла ничего.

— Тобиас, она здорова.

— Илария, она перестала делать то, что делала раньше.

— Она здорова физически, — уточнила она. — Тобиас, я вам могу сказать про вес, шерсть, глаза и стул. Про остальное я вам не врач.

— А кто ей тогда врач?

— Никто, — не приняла Илария. — Тобиас, у неё, если по-человечески говорить, руки опустились. И я не знаю, как это лечат у людей, а у неё тем более.

Мавра, стоявшая рядом, высказалась в свойственной ей

форме.

— Так к ней ходить надо чаще.

— Мавра, мы ходим.

— Вы ходите смотреть, — не приняла она. — А надо ходить сидеть.

* * *

Над документами мы просидели до ночи и вышли на то, что записали как единственную непротиворечивую версию.

Платил не Веккель.

Платил тот, кому Веккель-старший об этом рассказал, — потому что рассказать он мог, и потому что человек, который двадцать лет ходил по мёртвым камням и переписывался с женщиной из Кальцов, был не единственным, кто про это знал.

А Веккель-младший узнал об этом позже, из отцовских бумаг, и поехал в Верхний Вельн, и пошёл в службу.

— Ксаверий, значит, он всю жизнь искал того же, кого и мы.

Возможно так оно и есть, — согласился Ксаверий Аргентум Третий.

— И так и не нашёл.

А вот этого мы не знаем, — не принял он. — Реннел, он умер, не сказав тебе имени. И перед смертью велел передать три слова про шестьсот двенадцатый.

Он помолчал, а затем добавил:

Реннел, человек, который не нашёл, не оставляет указа-

ний, куда смотреть.

* * *

В Кальцы я поехал в апреле и поехал с Иларией, потому что без неё меня бы там не приняли.

Мельда была жива и на девяносто третьем году стала слышать хуже, а спрашивать больше.

Она приняла нас во дворе, как в прошлый раз, и, как в прошлый раз, первые полчаса расспрашивала сама.

Потом спросил я.

— Мельда, у Аннеки была дочь Анна?

— Была, как не быть.

— А у Анны — тоже Анна?

— Тоже, — подтвердила она. — Барон, у нас в роду через одну Анна. Это чтоб не путаться.

Илария рядом со мной хмыкнула.

— Мельда, а от второй Анны кто пошёл?

Старуха посмотрела на неё.

— Барышня, а вы чего спрашиваете?

— Затем, что она в шестьсот одиннадцатом писала письма человеку из королевской службы, — дoloжила Илария. — И я хочу знать, кто её дети.

Мельда помолчала.

— Кто ей писал, я не знаю, — отозвалась она наконец. — А детей у неё было четверо, и старший — мой отец.

* * *

Мы сидели на лавке в чужом дворе, и мне понадобилось

время.

— Мельда, то есть Анна — ваша бабка.

— Бабка, — подтвердила она. — Барон, я её помню. Она померла, когда мне было десять.

— И какая она была?

Старуха подумала.

— Быстрая, — доложила она. — Всё делала быстро и говорила быстро, и её у нас в семье не любили.

— За что не любили?

— За то, что читать умела, — уточнила Мельда. — Барон, у нас в Кальцах в те годы читали двое: поп и она.

Она поправила платок.

— И ещё за то, что к ней ездил чужой человек.

* * *

Илария рядом со мной очень медленно выпрямилась.

— Мельда, какой человек?

— Не знаю какой, — не приняла та. — Барышня, мне десять лет было, а ему годов шестьдесят. Приезжал раз в год, сидел с ней в горнице и уезжал.

— И долго он так ездил?

— Годов десять, — прикинула Мельда. — Я его один раз видела близко.

— И какой он был?

Старуха посмотрела мимо нас, в сторону, и заговорила не сразу.

— В тёмном, — доложила она. — И у него была рука.

— Что значит рука?

— Левая, — уточнила Мельда. — Он ею не владел. Дер-
жал вот так, у груди, и не разгибал.

* * *

Обратно мы ехали и молчали первые версты три.

Потом Илария заговорила.

— Тобиас, у неё в памяти два разных человека.

— Почему сразу два?

— Потому что тот, что приезжал к бабке, — с рукой, —
уточнила она. — А тот, что приходил тридцать лет назад про
монету, — она про руку не сказала.

— Илария, она могла не заметить.

— Тобиас, старуха, которая помнит про рукав и про иглу,
руку бы заметила, — не приняла она.

Я обдумывал это до самого дома.

Если человек в тёмном, приезжавший к Анне Овеск в два-
дцатых годах, — это Эрих Веккель-старший, то он умер в
пятьсот девяносто шестом и приезжать в шестьсот десятых
не мог.

Значит, это был кто-то другой.

Значит, к потомкам Марты Овеск ездили не двое, а трое,
и это не считая того, кто приходил к Мельде тридцать лет
назад.

* * *

Гретхен, всё это время сидевшая молча, заговорила в са-
мом конце.

— Господин барон, я хочу сказать про отца.

— Говорите, я слушаю.

— Он последний год плохо помнил, — доложила она. — Путал меня с матерью, спрашивал про службу, которой уже не было.

Она сложила руки.

— А про одно помнил всегда, — договорила Гретхен Векель. — Он каждый вечер спрашивал, заперт ли сундук.

Я поставил кружку.

— Гретхен, какой сундук?

— Тот, что я вам привезла, — отозвалась она. — Господин барон, он его тридцать лет держал под кроватью и последний год проверял каждый вечер.

* * *

Сундук мы после этого разобрали ещё раз, до дна, и разбирали вчетвером двое суток.

Искали не бумаги — искали то, чего в бумагах не бывает.

Нашёл Пим, и нашёл он это на второй день, когда все уже устали и перестали смотреть внимательно.

Дно было двойное.

Не хитро сделанное, не потайное — просто вторая доска на четверть вершка выше настоящего дна, и между ними щель в палец.

В щели лежал один лист.

* * *

Он был сложен вчетверо и пролежал так, судя по сгибам,

лет тридцать.

Писан он был той же женской рукой, что и сорок писем, и был он единственным, который Веккель-старший не положил к остальным.

«Эрих.

Вы просили написать, что она сказала перед смертью, и я пишу, хотя лучше бы не писала.

Она была в памяти до последнего часа и в последний час говорила ясно.

Она сказала: пусть придёт тот, кто считает, и пусть считает без меня.

Я спросила, кто считает. Она посмотрела на меня и сказала, что я знаю.

Я не знаю, Эрих.

И ещё она сказала одно, и вот это я вам передаю дословно, потому что не поняла ни слова.

Двенадцатый не потерян. Двенадцатый занят“.

Ваша А. О.»

* * *

Мы сидели над этим листом впятером и молчали долго.

Заговорил Кеша, и заговорил он вслух.

— Она умерла в шестьсот двенадцатом.

— И что? — не поняла Гретхен.

— А то, что в подвале под зимовником лежит двенадцатый камень, — уточнил я. — И что моя прапрабабка знала про него и знала, что он занят.

— Занят, но чем?

— Не чем, — покачал я головой. — Занят кем.

Илария очень медленно положила лист на стол.

— Тобиас, а сколько лет вашей двадцать второй?

— Илария, я не знаю.

— И я не знаю, — согласилась она. — Тобиас, я вам скажу, то что вам возможно не понравится, а вы подумайте прежде, чем отвечать.

— Говорите, я подумаю.

— Она сидит у вас полтора года и слушает подвал, — уточнила Илария тен Овеск. — А вам не приходило в голову, что она слушает не камень?

Глава 7

Вопрос Иларии я обдумывал три недели и на четвёртой сделал единственное, что придумал.

Спустился в подвал один.

Не с клеткой и не с драконом — сам, с фонарём, в четвёртом часу, когда весь дом спал.

Сел на пол в трёх шагах от плиты старшего камня и открылся.

Открывался я к камню впервые за шесть лет и открывался, зная, что это глупость: камень не живой, а дар мой слышит живое.

Я и слышал живое.

* * *

Не в камне.

Под ним.

Глубоко. Так глубоко, что я не смог бы сказать, сколько это в аршинах, и слабо, как слышится тот, кто далеко и не подаёт голоса.

Спокойное. Ровное. Не болезненное и не голодное.

И очень старое.

Я убрал руки на сороковой секунде, потому что пошла кровь, и сидел на полу ещё минут двадцать, пока не перестало трясти.

А потом поднялся и разбудил Иларию.

* * *

Она выслушала, не перебивая, и первое, что сделала, — посмотрела мне в глаза при свече.

— Тобиас, зрачки разные.

— Илария, я про камень говорю.

— А я про вас, — не приняла она. — Сядьте.

Я сел.

Она осматривала меня минут десять, молча, и я за эти десять минут остыл настолько, что перестал торопиться.

— Илария, насколько всё плохо?

— Плохо, Тобиас, — отозвалась она. — Тобиас, вы шесть лет открываетесь к зверю на минуту и к вечеру у вас идёт кровь. А сегодня вы сорок секунд слушали то, что под камнем, и вас трясло полчаса.

Она отставила свечу.

— И я вам сейчас скажу вещь, которую откладывала два года.

* * *

Она говорила минут пять и говорила ровно, как говорит человек, который эту речь много раз повторял про себя.

— Тобиас, я двенадцать лет вожусь со скотом и знаю, как выглядит животное, которое работает через силу.

— Илария, я не животное.

— Вы хуже, — не приняла она. — Животное перестаёт, когда больно. А вы записываете, что было больно, и делаете снова.

Я молчал.

— Я подняла ваши записи за шесть лет, — продолжила Илария. — В первый год вы открывались раз в неделю. В третий — раз в десять дней. В прошлом — четыре раза за год.

— И что это должно значить?

— Это значит, что вы сами себя ограничили и делаете это правильно, — отозвалась она. — А сегодня нарушили.

* * *

Я пообещал ей не открываться к камню без неё.

Обещание это я сдержал и до сих пор считаю, что сдержал не из-за неё, а из-за того, как она это сформулировала.

— Тобиас, я не прошу вас беречься.

— А о чём тогда просите?

— Чтобы вы не делали этого один, — уточнила она. — Потому что если вас положит, вас найдут утром.

Она поднялась.

— И, Тобиас, я вам скажу и второе, раз уж начала. Мне сорок пять лет.

— Илария, при чём тут это?

— При том, что я тут четвёртый год, — не приняла она. — И что я четвёртый год бегу к вам, когда за мной посылают. И что я хочу, чтобы вы это понимали, а не считали, что я просто хороший врач.

Она вышла.

А я остался сидеть с фонарём и просидел до света, и ду-

мал, честно говоря, не про камень.

* * *

Наутро я собрал всех и рассказал про подвал.

Реакции вышли те, каких я ждал, кроме одной.

Гуш спросил, глубоко ли, и, не получив ответа, кивнул и больше не спрашивал.

Пим спросил, надо ли записать, и записал тут же, за столом, пока я говорил.

Бернат спросил, не надо ли копать, и получил «нет», и это «нет» он выслушал с явным облегчением.

Гретхен молчала весь разговор и молчала так, что я потом её отдельно спросил, и она ответила, что три недели в чужом доме — не срок, чтобы высказываться о таком.

А Илмет задал вопрос, который поставил меня в тупик.

— Господин, а оно там одно?

Я остановился.

— Илмет, я его не считал.

— Господин, а вы бы посчитали? — не принял он. — Вы же к шестилапам открывались и слышали троих.

Он был прав.

Я слышал троих слитно и записал тогда, что вид держит связь между особями.

А тут я услышал одно и не спросил себя, одно ли.

* * *

Мавра высказалась последней и высказалась не про камень.

— Мальчик мой, а ты девочке-то что ответил?

Я, кажется, покраснел.

— Мавра, ты подслушивала?

— Я в соседней комнате спала, — не приняла она. — Мальчик мой, у нас стены в полторы доски. Так что ты ответил?

— Я ей ничего не ответил.

— Ну и дурак, — определила Мавра.

Она поставила чугунок.

— Ей сорок пять, тебе двадцать восемь, и она четвёртый год к тебе ездит через день, — уточнила она. — Мальчик мой, ты про зверей всё замечаешь. А про людей ты слепой.

* * *

Про это я думал ещё две недели и ничего не сделал.

Точнее, сделал одну глупость, о которой надо рассказать, потому что я её потом полгода расхлёбывал.

Я спросил у Кеши совета.

Реннел, ты просишь совета у существа, которое сто восемьдесят восемь лет живёт в одиночестве и не имело ни пары, ни родни.

— Ксаверий, ты знаешь людей.

Я знаю четверых Реннелов и одну домоправительницу, — не принял он. — И, Реннел, из этих пятерых счастлив в браке был ровно один, и он умер в сорок два.

— Ксаверий, я всё-таки спрашиваю.

Он помолчал.

Хорошо, — согласился Ксаверий Аргентум Третий. — Тогда я скажу тебе то, что вижу, и это будет не совет.

— Говорите, я выслушаю.

Она в этом доме четвёртый год и живёт во флигеле за свой счёт, — доложил он. — Она платит тебе аренду три золотых в год и вносит её первого числа. Она четыре дня в месяц уезжает в объезд и всякий раз возвращается на день раньше срока.

Он посмотрел на меня.

Реннел, я веду книги сто десять лет. Я тебе это говорю цифрами, потому что других слов у меня нет. Она возвращается раньше срока сорок восемь раз из пятидесяти.

* * *

И вот тут надо сказать честно.

Я испугался.

Не разницы в годах и не того, что скажут в уезде.

Я испугался того, что если это кончится плохо, то я потеряю не женщину, а зверодоктора, лечебницу, восьмую долю по договору и человека, который единственный за шесть лет говорит мне «нет».

И это, если разобраться, самая расчётливая мысль, какая приходила мне в голову за все годы в этом мире.

Кеша, услышав, отреагировал в своей манере.

Реннел, ты сейчас посчитал женщину как статью прихода.

— Ксаверий, я не то имел в виду.

Ты именно то имел в виду, — не принял Ксаверий Аргентум Третий. — И я тебе скажу, откуда это. Ты шесть лет считаешь. Ты считаешь корма, места, виды, доли и сроки, и ты в этом хорош. А потом ты берёшься считать то, что не считается, и получаешь мерзость.

Он помолчал.

И, Реннел, я это знаю не из книжечек. Я сто десять лет считал доли и однажды посчитал, во что мне обойдётся сказать твоей прабабке правду.

* * *

Лето между тем шло, и Урочище работало, и работало оно без меня лучше, чем со мной.

Я это заметил в мае, на утреннем докладе.

Пим доложил по приёмному двору за неделю: поступлений нет, падежа нет, у коврового смена кожи, шестипапам переложили песок.

Ирма доложила по четвёртому и пятому: всё живы, у соледа стёрлось копыто с той же стороны, что и прежде, она его подчистила сама, как её учила Илария.

Илмет доложил по кромке: диких мунликов теперь одиннадцать, тихокрылы вывели вторых птенцов, копач за месяц дал два новых выброса.

Гуш доложил четырьмя словами - "Все хорошо. Без изменений" и сел.

Гретхен доложила, что переписала за неделю сорок страниц и что в старых записях за позапрошлый год нашла две

ошибки в счёте.

— Гретхен, какие ошибки?

— В июльской сводке дважды посчитан один и тот же расход, — доложила она. — И в ноябрьской не сходится по кормам на полтора пуда.

— И в чью пользу?

— Ни в чью, — не приняла она. — Господин барон, это просто ошибки. Я их выправила и пометила, что выправила я.

Я сидел и слушал шестерых человек, каждый из которых знал свой кусок хозяйства лучше меня.

И поймал себя на том, что за четверть часа не сказал ни слова.

* * *

В июне у нас случилось первое пополнение своими силами, и это было не приобретение, а приплод.

Копуны дали третий помёт.

Мунлики — второй за год, чего не бывало ни разу за все то время, пока я был в этом мире.

А шестилапы, которых мы полтора года держали порознь из-за того майского случая, вдруг оказались не тем, чем мы думали.

Ирма пришла ко мне с этим сама и пришла испуганная.

— Господин барон, я, наверно, ошибаюсь.

— Говорите, Ирма.

— У третьего шестилапа брюхо, — доложила она. — Я

вчера чистила и заметила.

Илария осмотрела в тот же день и осматривала долго.

— Тобиас, она стельная.

— Илария, они полтора года порознь.

— Значит, не полтора, — не приняла она.

Мы подняли журнал и нашли.

В прошлом августе, при перестройке дворов, их держали вместе двое суток — просто потому, что клетки были заняты, а руки заняты тоже, и Пим тогда записал это одной строкой и приписал: «временно, двое суток».

Двое суток.

— Господин Тобиас, это я виноват.

— Пим, ты записал.

— Так я же не подумал, — не принял он.

— И я не подумал, — отозвался я. — Пим, я эту строку читал и подписал. Виноваты оба, и хватит об этом.

* * *

Родила она в июле, и родила двоих, и оба выжили.

И вот тогда мы впервые за шесть лет столкнулись с задачей, которой у нас не было никогда.

У нас появился вид, который размножается в неволе.

До того всё, что у нас было, либо не размножалось вовсе, либо размножалось так редко, что мы этого не планировали.

А тут стало ясно, что через три года шестилапов будет не трое, а пятнадцать.

— Илария, нам нужен ответ, что мы будем с ними делать.

— Тобиас, вам нужен не ответ, а правило, — не приняла она. — Ответ у вас будет на каждого свой.

— И какое правило?

— А вот его придумывайте, — отозвалась Илария. — Тобиас, я вам его придумать не могу. Я врач, я лечу то, что принесли.

* * *

Правило я придумывал месяц и придумал в итоге такое.

Всё, что родилось в Урочище, остаётся в Урочище до тех пор, пока не появится место, где ему будет лучше.

Не «пока не появится покупатель». Не «пока не потребует служба».

Пока не появится место, где лучше.

Кто решает, лучше ли, — держатель, и решает он письменно, с обоснованием, и обоснование это подшивается в племенную книгу.

Мавра, услышав, высказалась.

— Мальчик мой, а кто тебя проверит?

— Никто меня не проверит.

— Ну вот, — не приняла она. — Правило, которое ты сам себе пишешь и сам исполняешь, — это не правило, а обещание.

— И что предлагаешь?

— Пиши, кому ты это обещал, — распорядилась она.

Я дописал в конце строку.

«Обещано при Мавре, Гуше, Пиме, Илмете, Иларии,

Гретхен, Ирме и Гасте. Восемь человек. Если держатель нарушит, всякий из восьми вправе об этом сказать вслух, и держатель обязан выслушать».

* * *

Двадцать вторая тем временем перестала есть.

Не сразу — сперва стала есть меньше, потом через день, а к концу апреля перестала совсем.

Илария осмотрела её трижды и трижды не нашла ничего.

Мавра ходила к ней дважды в день и говорила при ней час, и это перестало помогать в начале мая.

Илмет вёл книгу и приносил мне страницы.

— Господин, она третий день не встаёт.

— Илмет, ты записал?

— Записал, — доложил он. — Господин, я вам ещё вот что скажу. Я четвёртую графу читал за полгода.

— И что ты там нашёл?

— Я в декабре записал: «мне кажется, она ждёт», — уточнил Илмет. — И потом четыре месяца это повторял.

Он положил лист.

— Господин, а если она перестала ждать?

* * *

Мы просидели над этим весь вечер и перебрали всё, что могли.

Ждать она могла кого угодно.

Того, кто её привёз, — и тогда это тянется полтора года и надежды нет.

Свою родню — и тогда мы ничего сделать не можем.

Того, кто под камнем, — и тогда мы не знаем как.

Или просто конца, потому что зверь в клетке иногда перестаёт есть и без всякой причины, и это, к сожалению, бывает.
— Ксаверий, ты можешь к ней открыться ещё раз?

Могу.

— И что услышишь?

То же, что и в прошлые два, — отозвался он. — Реннел, я тебе честно: я к ней открывался в марте, не сказав. Направление на месте, и оно то же самое.

— Ксаверий, ты открывался без нас.

Открывался, — согласился Ксаверий Аргентум Третий. — И ты меня сейчас будешь ругать за то же, за что тебя ругала тень Овеск, и я это выслушаю, потому что заслужил.

* * *

Решение приняла Мавра, и приняла она его в кухне, за столом, при всех, и приняла она его одной фразой.

— Несите её в подвал.

В кухне стало тихо.

— Мавра, я её в подвал носил в октябре, — напомнил я.
— И Илария со мной два дня не разговаривала.

— И правильно не разговаривала, — не приняла она. — Ты её тогда носил смотреть, что будет. А сейчас она не ест.

Илария подняла голову.

— Мавра, я против.

— Знаю, что против, девочка.

— Я против, потому что мы не знаем, что там, — уточнила Илария. — И потому, что она не может сказать «не хочу».

Мавра вытерла руки.

— А ты у неё спроси, — распорядилась она.

* * *

Спрашивали мы её рисунками, как в прошлый раз, и рисовал опять Пим.

Он нарисовал два листа.

На первом — сарай, клетка, она внутри.

На втором — подвал, плита, клетка рядом с плитой.

Мы поднесли оба к пруту и держали, и держали долго, потому что она не встала.

Она лежала и смотрела.

Минут через десять Илмет предложил положить листы на пол клетки, и мы положили, и отошли на пять шагов.

Она подползла.

Не встала — подползла, и это было первое её движение за три дня.

И легла на второй лист.

* * *

Несли её вчетвером, на носилках, и несли медленно, потому что клетка с ней весила больше пяти пудов.

Поставили в трёх шагах от плиты, как в октябре.

И в этот раз она не встала.

Она лежала на дне, у самого прута с той стороны, что ближе к камню, и лежала неподвижно, и я, честно говоря, ре-

шил, что мы её уже потеряли.

Мы простояли полчаса.

Потом Гуш, стоявший ближе всех, сказал одно слово.

— Она дышит, господин.

— Гуш, она и раньше дышала.

— По-другому дышит, — не принял он.

* * *

Она задышала глубже и ровнее, и это увидели все четверо.

Мы простояли внизу два часа.

К концу второго она подняла голову.

К концу третьего села.

А в пятом часу утра, когда я уже отправил всех спать и остался внизу один с фонарём, она подошла к пруту, просунула лапу и сделала то самое движение, которым тянут.

Один раз.

Потом ещё раз.

Потом опустила лапу и посмотрела на меня, и я в первый раз за полтора года понял, что она от меня чего-то хочет, и что я не понимаю чего.

* * *

Первые сутки в подвале дежурили по двое, и первую ночь взял я с Илмётом.

Сидели на принесённых чурбаках, при одном фонаре, и молчали часа полтора.

Потом он заговорил.

— Господин, а можно я вам скажу про отца?

— Говори, чего уж там.

— Он в позапрошлом году писал, что у них в кочевье родился хромой, — доложил Илмет. — И что его не бросили.

— И что тут особенного?

— А у них бросали, — уточнил он. — Господин, у них триста лет бросали, потому что степь и кочевать надо. А теперь перестали.

Он подобрал щепку.

— Отец пишет: с тех пор как барон приехал.

Я молчал.

— Господин, я не в похвалу, — добавил Илмет. — Я к тому, что вы там были сорок дней, а про вас уже говорят и помнят третий год.

* * *

Клетку мы оставили в подвале.

Не насовсем — пока не начнёт есть, и я поставил себе срок в две недели, и за две недели она съела трижды.

Илария осматривала её каждый день и на девятый день сказала вещь, из-за которой мы поменяли всё.

— Тобиас, она поправляется.

— Илария, она ест раз в четыре дня.

— И до этого не ела вовсе, — не приняла она. — Тобиас, я не про еду. Я про то, что у неё шерсть перестала лезть и глаза стали чистые.

Она закрыла книжечку.

— И вот теперь я вам скажу то, за что сама себя не похва-

лю. Я была неправа в октябре.

— Илария, не надо.

— Я была неправа, — повторила она. — Тобиас, я вам тогда сказала, что вы поступили с ней как с прибором. А вы поступили с ней как с больной, которую положили ближе к тому, что ей нужно.

* * *

Про то, что творилось в доме эти две недели, надо сказать, потому что зверь зверем, а жили мы всемером в одном доме и все всё видели.

Мавра со мной не разговаривала четыре дня.

Не сердито — она просто отвечала по делу и не начинала сама, и это было хуже всякого выговора.

На пятый я не выдержал.

— Мавра, ты долго ещё будешь молчать?

— Пока не перестанешь дурить, — не приняла она.

— Мавра, я не дую. Я думаю.

— Ты считаешь, — отрезала она. — Мальчик мой, я тебя шесть лет знаю. Когда ты думаешь, ты ходишь. А когда считаешь, ты сидишь и смотришь в одну точку.

Она поставила передо мной миску.

— Ешь. И вот что я тебе скажу, а ты не перебивай.

— Слушаю тебя, Мавра.

— Я за Йоргена тридцать четыре года держалась и ничего не сказала, — доложила Мавра. — Ни когда он уходил, ни когда стоял под окном. Тридцать четыре года, мальчик мой.

Она села напротив.

— И я не хочу смотреть, как ты то же самое делаешь. У меня на это второй жизни нет.

* * *

С Иларией мы эти две недели работали как обычно.

Она приезжала, принимала, осматривала зверя, докладывала на утреннем докладе и уезжала.

И ни разу не вернулась к тому разговору.

А на десятый день привезла с собой ящик.

— Тобиас, это вам.

— А что в нём?

— Инструмент, — доложила она. — Я в Кальцах у Ретти-ха выкупила его старый набор. Он больше не работает, руки не держат.

Я открыл ящик.

Двадцать с чем-то предметов, все стёртые, все в хорошем состоянии, и все по руке — не для коровы, а для мелкого зверя.

— Илария, это же его сорок лет.

— Сорок три, — уточнила она. — Тобиас, он мне их не продал. Он мне их отдал, а деньги я ему всё равно оставила и не сказала.

Она закрыла ящик.

— И вот теперь я вам скажу, зачем привезла.

— Слушаю вас.

— Затем, что вы третий год просите меня научить вас ра-

ботать руками, — уточнила Илария тен Овеск. — И затем, что учить вас на моём инструменте я не могу, а на своём вы теперь можете.

* * *

Через месяц Бернат разгородил подвал.

Отгородил дальний угол, поставил решётку от пола до свода, сделал дверь и настелил пол, потому что земляной в подвале был холодный.

Работал он одиннадцать дней и на десятый спросил у меня то, чего я от него не ждал.

— Барон, а окно делать?

— Бернат, это же подвал.

— Так и я про то, — не принял он. — Барон, там света нет вовсе. Я могу продушину пробить, наверх, будет столб света часа на три в день.

— И сколько это стоит?

— Дня три работы, — доложил он. — Барон, я не про деньги спрашиваю. Я спрашиваю, надо ли ей.

Я не знал.

И, не зная, сделал то, что делал уже дважды: велел Пиму нарисовать.

Она легла на лист с продушиной.

* * *

Свет в подвале появился в июне.

Столб от полудня до третьего часа, шириной в две ладони, и падал он в трёх шагах от её решётки.

Она в этот столб не заходила.

Она садилась у самой его границы и сидела, пока он не уходил, и Илмет записал это в первую же неделю и записал дословно так:

«Садится вплотную к свету и в него не входит. Наблюдаю восемь дней, ни разу не вошла».

А в четвёртой графе, той самой, где он писал своё мнение, стояло:

«Мне кажется, ей нельзя. Не боится, а нельзя».

* * *

Тропа в тот год открылась поздно, в конце марта, и Кайрак пришёл с ходкой в апреле.

Я показал ему двадцать вторую.

Не из нужды — я к тому времени показывал её всем, кто мог что-нибудь сказать, и за полтора года не сказал ничего никто.

Кайрак смотрел на неё четверть часа.

Потом отступил на шаг и произнёс несколько слов, и Кеша перевёл их не сразу.

Реннел, я перевожу дословно, а толковать не берусь.

— Переводи как есть.

Он говорит: у нас про таких рассказывают, — доложил Ксаверий Аргентум Третий. — И говорит, что рассказывают не про зверей.

— Ксаверий, спроси, что именно рассказывают.

Кайрак ответил длинно, минуты три.

И Кеша слушал его весь этот срок и не переводил ни слова, а когда тот закончил, повернул ко мне башку.

Реннел, он говорит, что они приходят считать.

* * *

Мы просидели с Кайраком до темноты, и это был самый трудный перевод за шесть лет, потому что переводить приходилось не слова.

Рассказывали у них вот что.

Раз в несколько поколений — сколько именно, никто не считал — в кочевье появляется гость.

Не человек и не зверь.

Он ничего не просит и ничего не берёт. Он живёт при кочевье какое-то время, смотрит и уходит.

И после его ухода в кочевье считают.

— Ксаверий, что считают?

Всё, — перевёл дракон. — Людей, скот, телеги, шатры. Он говорит: после такого гостя старшие садятся и считают всё, что есть, и записывают.

— Ксаверий, у них не записывают.

У них не записывают, — согласился Ксаверий Аргентум Третий. — Реннел, он сказал «запоминают наизусть». Я перевёл «записывают», потому что у нас нет второго слова.

Я подался вперёд.

— Ксаверий, спроси: зачем считают?

Кайрак ответил коротко.

Чтобы знать, сколько было, — доложил дракон. — Рен-

нел, он говорит: чтобы знать, сколько было до него, и сколько стало после.

* * *

Я сидел и очень медленно понимал, что мне рассказали.

— Ксаверий, спроси: после него кого-то недосчитывались?

Кайрак ответил не сразу.

Он думал секунд двадцать, и Кеша, переводя, впервые за шесть лет добавил своё.

Он говорит: никогда, — доложил Ксаверий Аргентум Третий. — И, Реннел, он при этом посмотрел в сторону, и я тебе это говорю потому, что у них это значит то же, что и у нас.

— Ксаверий, спроси прямо.

Дракон спросил.

Кайрак ответил, и ответил длинно, и на середине встал.

Он говорит: не недосчитывались, — перевёл Кеша. — Он говорит: пересчитывались.

— Ксаверий, я не понимаю.

И я не понимаю, — ответил он. — Реннел, я перевожу дословно, и дословно это значит «стало больше, чем было».

* * *

Кайрак ушёл на другой день, и уходя, задержался у камня.

Он положил монету, отступил и потом, уже отойдя, вернулся и сказал мне через Кешу одно.

Он говорит: не корми её сам, — доложил дракон.

— Ксаверий, почему?

Кайрак ответил тремя словами и пошёл к камню.

Он говорит: тогда сочтут тебя, — перевёл Ксаверий
Аргентум Третий.

Глава 8

«Тогда сочтут тебя» я обдумывал до осени и осенью понял, что обдумывать нечего.

Я её и так не кормил.

Кормила Мавра — с первого дня, по своему же решению, и кормила она её к тому времени двадцать один месяц.

Я это сообразил не сразу, а сообразив, пошёл на кухню и сел, и она по лицу поняла раньше, чем я открыл рот.

— Мальчик мой, ты чего белый?

— Мавра, ты её кормишь двадцать один месяц.

— Кормлю, и что с того.

— А Кайрак сказал: кто кормит, того сочтут.

Она поставила чугунок и вытерла руки.

— Ну и пусть считают, — определила Мавра, а затем покачала головой как ни в чем не бывало вернулась к печи.

Вот только меня этот ответ не устроил и я, кажется, повысил голос, чего за шесть лет не делал.

— Мавра, ты понимаешь, что это значит?

— А ты понимаешь? — не приняла она.

— Честно сказать, не понимаю.

— Вот и я не понимаю, — отозвалась Мавра. — Мальчик мой, тебе дикарь через ящерицу сказал три слова, и ты уже меня хоронишь.

— Мавра, он не дикарь.

— Он не дикарь, — согласилась она. — И слова у него страшные. А я двадцать один месяц ношу миску и за двадцать один месяц ничего со мной не сделалось.

Она села напротив.

— И вот что я тебе скажу, и больше об этом не будем. Мне семьдесят восьмой год.

— Мавра, не надо так.

— Семьдесят восьмой, — повторила она. — Мальчик мой, меня посчитают через два года, через пять или через десять, и без всякого камня. И если меня кто-то там посчитает раньше, так я хоть буду знать, что не зря миску носила.

* * *

Разговор этот кончился ничем, и весь день я потом ходил и злился — не на неё, а на то, что она права и что мне нечего возразить.

Заметил это Пим и заметил по-своему.

Он подошёл вечером и предложил пойти посмотреть копуний помёт, которого я не видел неделю.

Мы стояли у решётки минут двадцать и смотрели, как четверо слепых копунят возятся в подстилке.

— Господин Тобиас, а вы знаете, что у них уже глаза открылись?

— Знаю, ты вчера докладывал.

— А что старший вылезает из гнезда, знаете?

— Знаю, ты и это говорил.

— А что он вылезает и обратно не находит дорогу, знаете?

— уточнил Пим.

Я не знал.

— Он третий день вылезает и орёт у входа, — доложил он. — Я его три раза заносил.

— Пим, а почему не докладывал?

— Так я вам сейчас и докладываю, — не принял он. — Господин Тобиас, я про это на утреннем скажу, а сейчас я вас просто увёл от кухни.

Я посмотрел на него.

Ему шёл двадцатый год, он вёл два двора и учил смотрителей службы, и он только что увёл меня от кухни, как уведут животное от места, где ему быть было не нужно.

* * *

Кеша по этому поводу высказался вечером и высказался неожиданно.

Реннел, она права, и права не так, как ты думаешь.

— Ксаверий, она права в том, что ей семьдесят семь.

Она права в том, что вы неверно поняли слово, — не принял он. — Реннел, я переводил и перевёл «сочтут». А кайракское слово значит ещё и «зачтут».

Я поднял голову.

— Ксаверий, ты перевёл неточно?

Я перевёл одним из двух значений, — уточнил Ксаверий Аргентум Третий. — *И выбрал то, которое страшнее.*

Он помолчал.

Реннел, я это осознал вчера ночью и сутки не решался

тебе сказать.

* * *

Разницу мы разбирали час и разобрали через простой пример.

«Сочтут» — значит внесут в счёт, как вносят голову скота. Был, есть, стало столько-то.

«Зачтут» — значит примут во внимание, как принимают уплаченное.

И у них, по словам Кеши, это одно слово, и различают его по тому, кто говорит и о чём.

— Ксаверий, а Кайрак что имел в виду?

Не знаю, — признал дракон. — Реннел, я его не спрошу: он ушёл до марта. И, честно говоря, я не уверен, что он сам различает.

Я записал оба значения в свод, рядом, и подчеркнул оба. А ниже приписал то, что счёл важнее обоих:

«Переводчик выбрал страшное значение, потому что боялся. Переводчик это признал сам, через сутки, без принуждения.

* * *

Осень и зима вышли тяжёлыми, и тяжёлыми не по делу. Девятого октября умер пеплогрив.

Ему шла пятая зима на настиле, и Илария два года подряд писала в дозировках приписку про его суставы, и я эту приписку два года читал.

Умер он утром, в своём дворе, лёжа, и умер без мучений

— Илария осмотрела и сказала, что сердце.

Гуш нашёл его первым.

Он пришёл в кухню, постоял в дверях и сказал четыре слова.

— Господин, слепой не встал.

Мы вышли все.

* * *

Хоронили его в тот же день, за третьим двором, и копали вчетвером четыре часа, потому что яма нужна была на тридцать пудов.

Гуш копал молча и не дал никому себя сменить.

Когда закончили, он постоял над ямой и сказал ещё три слова, и это была вторая его речь за день.

— Двадцать два года.

— Гуш, ты его двадцать два года знал?

— С каменоломни, — доложил он. — Господин, я его первый раз видел, когда мне было двадцать. Его тогда сюда привезли.

Он воткнул лопату.

— Я тут потому и остался, — договорил Гуш.

Я про это шесть лет не знал.

* * *

Записывал я его в племенную книгу вечером и записывал долго, потому что не мог решить, что писать в графе причины.

В итоге написал «старость», и приписал ниже то, что счи-

таю обязательным для этой книги:

«Слеп с восьми лет. При поступлении в Урочище имел клеймо Ловчего. Прожил тут двадцать два года.

Последние пять зим на тёплом настиле, устроенном в шестьсот тридцать девятом. До того зимовал на голом полу.

Умер в своём дворе, лёжа, не мучаясь. Нашёл Гуш».

А Илмет, читавший через плечо, спросил то, до чего я не додумался.

— Господин, а имя?

— Илмет, у него не было имени.

— Как это не было? — не принял он. — Господин, дядя Гуш его двадцать два года звал Слепым.

Я дописал.

* * *

В ноябре умерла одна из двух прозрачноперых.

Без причины и без болезни — просто утром не встала, и вскрытие не дало ничего, как не дало и в первый раз.

Вторая после этого перестала есть на девять дней.

Кормили мы её через рожок вчетвером посменно, и выходила её в итоге Ирма, потому что у неё оказались самые спокойные руки в доме.

Мы ее выходили и Ирма на десятый день пришла ко мне с вопросом.

— Господин барон, а она теперь одна останется?

— Одна останется, Ирма.

— И это уже насовсем?

— Насовсем, — подтвердил я. — Ирма, у нас вторая была единственная в королевстве.

Она подумала.

— Господин барон, а можно я к ней ходить буду? Не по работе.

— Ходи, конечно, разрешаю.

— А это не запрещено?

— Ирма, у нас в наставлении написано не давать имени в первый месяц, — уточнил я. — Про «ходить не по работе» не написано ничего.

Она ходила к ней шесть лет, до самой её смерти.

* * *

Второго переводчика мы искали полгода и нашли способ обойтись без него.

Придумал Илмет, и придумал он это не как решение, а как жалобу.

— Господин, я по-кайракски говорю хуже, чем раньше.

— Илмет, ты четыре года дома не жил.

— Я дома был дважды, — не принял он. — Господин, я про другое. Я слова помню, а как говорят — забываю.

Он подумал.

— И ещё я замечаю, что Ксаверий переводит не как отец говорит.

Я отложил перо.

— Илмет, а в чём разница?

— Ксаверий переводит гладко, — доложил он. — А мы...

- он сделал паузу. - Они так не говорят. Они говорят короче и оставляют пустое.

* * *

Из этой жалобы вышло вот что.

С октября мы стали переводить вдвоём.

Кеша переводил как раньше, а Илмет записывал то, что расслышал сам, — отдельно, своими словами, с пометкой, где не понял.

Сравнивали потом.

За зиму набралось одиннадцать расхождений.

Восемь оказались мелкими: дракон подставлял вежливые обороты, которых в оригинале не было, потому что сто десять лет назад так говорили.

Два — существенными.

И одно оказалось таким, что мы потом полгода пересматривали старые записи.

* * *

Расхождение было в слове «пошлина».

Кеша переводил его этим словом шесть лет, и я шесть лет писал в реестр «пошлина», и служба шесть лет принимала.

Илмет, услышав это слово в ноябре, записал иначе.

«Доля».

— Илмет, это одно и то же.

— Не одно, — не принял он. — Господин, пошлину берут.

А долю отдают.

— И что от этого меняется?

— Всё, — уточнил он. — Господин, если это пошлина, то вы её с них берёте, потому что земля ваша. А если доля, то они её отдают, потому что так положено.

Он посмотрел на меня.

— И отдают не вам.

* * *

Мы позвали Кешу, и Кеша признал сразу.

Он прав.

— Ксаверий, ты шесть лет переводил «пошлина».

Шесть лет, — согласился Ксаверий Аргентум Третий. — *Реннел, и я тебе сейчас объясню почему, и объяснение мне не делает чести.*

— Объясняй, я выслушаю.

Потому что я вёл приходную книгу этого поместья сорок лет, — доложил дракон. — И в этой книге есть статья «пошлина тропная». Она заведена в четыреста восемьдесят втором. Я переводил в ту статью, которая у меня была.

Я сидел и очень медленно понимал, что мы шесть лет вели реестр не того.

— Ксаверий, а кому они отдают?

Вот этого я не знаю, — отозвался он. — И, Реннел, теперь я думаю, что не знал никогда.

* * *

Прежде чем пересматривать шесть лет, я сделал то, чего не делал ни разу: созвал всех и признал ошибку вслух.

Не «мы ошиблись» — «я ошибся», потому что реестр вёл я и подписывал я.

Говорил я минуты три и говорил плохо.

— Я шесть лет писал в реестр слово, которого не понимал. И шесть лет отчитывался по нему в службу.

В кухне помолчали.

— Господин Тобиас, а нас за это накажут? — уточнил Пим.

— Этого я не знаю.

— А вас самого накажут?

— Меня — возможно, — отозвался я.

Гуш поднял голову.

— Господин, а звери при чём?

— Гуш, звери ни при чём.

— Ну и всё тогда, — определил он и вернулся к своей кружке.

* * *

Гретхен заговорила последней и заговорила про то, чего никто не ждал.

— Господин барон, я могу сверить.

— Что именно сверить?

— Все ваши отчёты в службу за шесть лет, — доложила она. — Господин барон, я их переписываю второй год и знаю, где что лежит.

— Гретхен, это месяц работы.

— Полтора, — уточнила она. — И я вам скажу зачем. Ес-

ли вы сами найдёте все места, где написано неверно, и сами подадите список, это будет одно.

— А если найдут они?

— Тогда это будет совсем другое, — отозвалась Гретхен Веккель. — Господин барон, я три года ходила за отцом и одиннадцать лет жила при службе. Я знаю, как там читают бумаги.

Она сверяла их два месяца.

Нашла сто девять мест.

* * *

Мы пересмотрели записи за шесть лет и пересматривали их до весны.

Выходило вот что.

Монету кладут на камень.

Не мне в руку, не в ящик, не в кассу — на камень, и кладут её сами, и я к ней не притрагиваюсь, пока она не уйдёт.

Я шесть лет считал это обычаем.

А это была не форма уплаты, а суть: они отдавали не мне, и камень был не кассой, а получателем.

— Илария, вы понимаете, что это значит?

— Прекрасно понимаю, — отозвалась она. — Тобиас, это значит, что вы шесть лет числили в приходе то, чего никогда не получали.

— Илария, я получал. У меня восемьдесят две монеты в ящике.

— У вас в ящике восемьдесят две монеты, которые камень

не взял, — не приняла она.

* * *

Вот это меня и подкосило.

Я поднял реестр и посчитал за шесть лет.

Проходов — четыреста с чем-то.

Монет положено — столько же.

Монет в ящике — восемьдесят две.

То есть три четверти монет камень забрал, а четверть оставил, и я эту четверть шесть лет складывал в ящик и сдавал по ней отчёт.

— Ксаверий, а почему он берёт не все монеты?

Не знаю.

— Ксаверий, ты сто десять лет при этом камне.

Сто десять лет я вёл книгу, в которой писал «внесено», и не смотрел, что осталось, — не принял он. — Реннел, монеты со мной не разговаривали. Я их считал.

* * *

Разбирался с этим Пим, и разбирался он три недели, и разобрался.

Он поднял реестр и сверил каждую оставшуюся монету с обстоятельствами прохода.

Вышло так.

Камень не брал монету в двух случаях.

Первый: когда проходящий шёл не в первый раз за один день. Второй человек той же ходки, вернувшийся за забытым, клал монету, и она оставалась.

Второй: когда монету клали за другого.

— Господин Тобиас, вот тут четырнадцать раз, — доложил он, водя пальцем. — Старший кладёт за мальчишку, который с ним. И монета остаётся.

— Пим, а если мальчишка кладёт сам?

— Тогда уходит, — уточнил он. — Господин Тобиас, я по реестру проверил. Одиннадцать раз мальчишки клали сами, и все одиннадцать ушли.

* * *

Я сидел над этим полдня и к вечеру записал в свод вывод, который считаю главным за шестой год.

«Камень берёт монету только у того, кто платит за себя и в первый раз.

За другого — не берёт. Второй раз за день — не берёт.

Вывод: берётся не плата, а первое добровольное действие лица.

Следствие: восемьдесят две монеты в ящике — не доход. Это отказы».

Илария, прочитав, дописала ниже своей рукой:

«И это, между прочим, объясняет, отчего у Тобиаса за шесть лет ни разу не вышло разжечь камень своими деньгами. Он платил за других».

* * *

К февралю в Урочище стало шестьдесят четыре головы и двадцать один вид, и это был предел, за которым Бернат отказался строить.

Он пришёл ко мне сам и пришёл с расчётом.

— Барон, я больше не буду.

— Бернат, что случилось?

— Ничего не случилось, — не принял он. — Барон, я вам за шесть лет поставил двести двадцать столбов, шесть отсеков, приёмный двор, два бурта, акведук и подвальную загородку.

Он положил лист.

— И я вам ещё поставлю, сколько скажете. Только сперва вы мне ответьте на один вопрос.

— Спрашивайте ваш вопрос.

— Сколько их будет? — уточнил Бернат.

Я не знал.

— Барон, вы не знаете, — не принял он мой ответ, которого я не дал. — А я строю. И я строю каждый раз на то, что есть, и каждый раз через год мало.

Он сел.

— Барон, давайте я вам построю не двор. Давайте я вам построю место, где можно ставить дворы.

* * *

Мы разбирали это три вечера и разобрали.

Он предлагал разметить всё поле за третьим двором — двенадцать десятин — под будущие постройки: провести воду, проложить дорожки, вырыть ямы под столбы и поставить столбы, а стены и кровли класть потом, по мере нужды.

— Бернат, это на годы.

— На четыре, — уточнил он. — Барон, я посчитал. Четыре года по три месяца в лето.

— И сколько это стоит?

— Столбы, лес, гвозди и труба, — доложил он. — Сто шестьдесят золотых за четыре года. По сорок в год.

Я посчитал своё.

Сорок в год мы вытягивали, но только при том, что тропа ходит и посетители идут.

— Бернат, а если тропа встанет?

— Тогда бросим на середине, — не принял он. — Барон, я вам честно: я в жизни ничего не строил на четыре года вперёд. Я всё строил на то, что есть сейчас.

Он посмотрел на меня.

— И мне пятьдесят четыре. Я хочу один раз построить вперёд.

* * *

В марте вернулся Кайрак, и я задал ему вопрос, который держал всю зиму.

Через Кешу и через Илмета разом, и это был первый разговор, который мы вели двумя переводчиками.

— Спросите: кому они отдают долю?

Ответ шёл долго.

Кеша перевёл: «камню».

Илмет записал: «тому, кто за камнем».

Сравнили при Кайраке, и Кеша, поняв расхождение, переспросил сам, без моей просьбы.

И перевёл во второй раз иначе.

Реннел, я ошибся, — доложил Ксаверий Аргентум Третий.

— Он сказал «тому, кто считает».

* * *

Мы просидели с Кайраком три вечера, и три вечера он отвечал на вопросы, которых ему шесть лет никто не задавал.

Изложу то, что сложилось, и изложу честно: половину мы, вероятно, поняли неправильно.

Доля платится не за проход.

Она платится за то, что тебя внесли в счёт того, кто считает.

Платят раз в жизни — первый раз, когда проходишь. Дальше уже всё равно, потому что ты уже сочтён.

— Ксаверий, спроси: а зачем быть сочтённым?

Кайрак ответил коротко, и оба перевода в этот раз сошлись.

«Чтобы вернуться».

* * *

Я держал перо и не мог его опустить.

— Ксаверий, спроси: вернуться откуда?

Кайрак посмотрел на меня и ответил тремя словами.

Он говорит: оттуда, куда пошёл, — перевёл дракон.

— Ксаверий, это не ответ.

Это ответ, — "кивнул" он. — Реннел, подумай сам. Ты шесть лет пускаешь через камень людей. Все они возвращаются. Все до единого.

— Ксаверий, они торговцы. Они ходят туда и обратно.

Четыреста с лишним проходов, — уточнил Ксаверий Аргентум Третий. — *И ни один не сгинул. Реннел, ты сколько знаешь дорог, по которым за шесть лет не пропал никто?*

* * *

Я не знал ни одной.

И вот тогда до меня дошло, что мы шесть лет пользовались вещью, устройства которой не понимали, и что нам просто везло.

Точнее — не везло.

Просто все, кто ходил, платили за себя и в первый раз, потому что у них так заведено четыреста лет, и заведено не нами.

— Ксаверий, а те двое, что прошли в позапрошлом году без монеты?

Он молчал долго.

Тегиш, — отозвался он наконец. — *Тегиш прошёл без монеты, потому что шёл за помощью и монеты не имел.*

— И он всё-таки вернулся.

И вернулся, — согласился дракон. — *Реннел, и я тебе сейчас скажу то, о чём думаю третий день. Он вернулся не тем путём, каким шёл. Он вернулся с нами, через камень, при нас пятерых, и ты за него положил монету сам.*

Я вспомнил.

Я действительно положил за него, потому что у него не было.

И камень её не взял, — договорил Ксаверий Аргентум
Третий.

* * *

Марек Хольт приехал в апреле с квартальной проверкой и уехал через сутки, и них я сделал то, что откладывал полгода.

Я отдал ему список.

Сто девять мест, где реестр неверен, с указанием, чем неверен и почему, и с моей подписью под каждой страницей.

Он читал его час.

Потом закрыл и очень долго молчал.

— Барон, вы понимаете, что вы мне дали?

— Прекрасно понимаю.

— Уверены? — не принял он. — Барон, тут на отстранение. Не за обман — за небрежность, но этого довольно.

— Магистр Хольт, я знаю.

— И всё-таки вы его мне дали.

— И всё же дал, — подтвердил я. — Магистр Хольт, если я не дам, через год это найдёт кто-то другой, и тогда это будет не небрежность.

Он положил список на стол.

— Барон, я его не приму.

* * *

Я, кажется, не сразу понял.

— Магистр Хольт, вы его обязаны принять.

— Я обязан принять то, что подано по форме, — уточнил он. — А это не подано. Это лежит у меня на столе без сопро-

водительной бумаги.

Он подвинул список обратно.

— Барон, подайте его через палату.

— Почему через палату?

— Потому что палата рассматривает, а служба взыскивает, — доложил Марек Хольт. — Барон, если вы подадите мне, я обязан дать ход. А если подадите в палату, они сперва спросят, а уж потом решат.

Он застегнул сумку.

— И ещё потому, что в палате сидит магистр Крич, а в службе сижу я.

— И что это меняет?

— То, что его никто не будет спрашивать, отчего он вас покрывает, — отозвался Марек. — А меня будут.

* * *

После того как Марек уехал, мы первым делом подняли ящик.

Восемьдесят две монеты лежали там шесть лет, и Пим за три недели описал каждую и сверил с реестром, и монета Тегиша была двадцать девятой.

Я держал её на ладони и думал о том, что человек, которого мы выходили и который четыре года учил моих людей своему языку, до сих пор не сочтён.

— Ксаверий, а что это значит для него?

Ничего, — отозвался дракон. — Реннел, он живёт в кочевье, сына отдал в науку, дочь собирается отдать. С ним всё

хорошо.

— А если он пойдёт снова?

Кеша помолчал.

А вот если он снова пойдёт, я не знаю, — признал Ксаверий Аргентум Третий.

* * *

Монету Тегиша я в тот же вечер отложил отдельно.

Не в ящик — в кошель, и кошель этот с тех пор лежал у меня в столе шесть лет, и я его трижды собирался отправить ему с ходкой и трижды не отправлял.

Илмет, узнав, спросил единственное.

— Господин, а вы её отцу отдадите?

— Этого я не решил.

— Господин, если он не сочтён, а монета у вас — это как?

Я на это ответа не нашёл.

— Илмет, я не знаю, как это устроено.

— И я не знаю, — согласился он. — Господин, а можно я ему напишу?

— Пиши, я не против.

— А что мне писать?

— Правду, — отозвался я. — Илмет, напиши как есть: что он прошёл без монеты, что я положил за него и что камень не взял. И пусть он сам решит, что с этим делать.

Он написал письмо на четырёх листах, по-своему, справа налево, и я не прочёл в нём ни знака.

Ответ пришёл через полгода.

Илмет прочёл его и перевёл мне одну строку.

— Отец пишет: пусть лежит у барона.

— И больше ничего?

— Это всё, — подтвердил он. — Господин, я вам дословно перевёл. Он больше ничего не написал.

* * *

А в мае в Урочище приехал человек, которого мы не ждали.

Приехал он верхом, один, без бумаг, и назвался на воротах Пиму, и он прибежал ко мне с лицом, какого я у него не видел два года.

— Господин Тобиас, там человек.

— Что за человек?

— Он сказал фамилию, — доложил Пим. — Господин Тобиас, он сказал: Веккель.

Глава 9

Про то, как прошли эти сутки до с

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.